



ЭРНСТ

ЮНГЕР

ЭВМЕСВИЛЬ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Эрнст Юнгер

ЭВМЕСВИЛЬ

«Издательство АСТ»

1977

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Юнгер Э.

Эвмесвиль / Э. Юнгер — «Издательство АСТ»,
1977 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-146353-3

Одно из знаковых произведений послевоенной Германии и лучший роман Эрнста Юнгера. Историко-философская притча, для увлекательности чтения завуалированная под антиутопию. Город-государство Эвмесвиль – один из последних оплотов порядка и законности на обломках уничтожившей себя человеческой цивилизации. В нем царит свобода нравов, население благоденствует. Оппозицию здесь предпочитают не карать, а прикармливать, а интеллигенцию в прямом смысле покупают при помощи материальных благ. За это ей приходится платить унижительной ролью «домашнего любимца», как герою-рассказчику романа историку Мартину Венатору, служащему в цитадели властителя Эвмесвиля Кондора. Но как бы ни было выгодно положение приближенного к правителю, рано или поздно придется сделать выбор...

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-146353-3

© Юнгер Э., 1977
© Издательство АСТ, 1977

Содержание

Учители	6
1	6
2	7
3	11
4	16
5	20
6	23
7	28
8	31
9	35
10	39
11	41
12	45
13	50
Отграничение и уверенность	55
14	55
15	59
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Эрнст Юнгер

Эвмесвиль

Ernst Jünger
EUMESWIL

- © Klett-Cotta – J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart, 1977, 1980
- © Ernst Jünger, Eumeswil. Sämtliche Werke (PB) vol. 20, Klett-Cotta, Stuttgart 2015
- © Перевод. А. Анваер, 2023
- © Перевод, стихи. Н. Сидемон-Эристава, 2023
- © Издание на русском языке AST Publishers, 2023

Учители

1

Меня зовут Мануэль Венатор¹; я – ночной стюард касбы² Эвмесвиля. Наружность у меня неброская; на спортивных состязаниях я, пожалуй, могу претендовать на третье место, да и особых проблем с женщинами у меня нет. Скоро мне исполнится тридцать; характер мой можно назвать приятным – собственно, к этому предрасполагает уже моя профессия. В политическом плане я благонадежен, хотя и без фанатизма.

Таковы краткие сведения о моей персоне. Они вполне искренни, хотя пока неточны. В ходе рассказа я буду их уточнять, для начала же этого достаточно.

Уточнение неясностей, все более и более четкое очерчивание неопределенностей: именно в этом состоит задача любого развития, любого – более или менее длительного – напряжения сил. Вот почему с течением лет физиономии и характеры все отчетливее проступают. То же в равной степени касается и почерка.

Вначале скульптор подходит к каменной глыбе, к чистой материи, заключающей в себе любые возможности. Материя ответит на прикосновение резца; он может просто расколоть глыбу, но может и исторгнуть из нее воду жизни, освободить таящуюся в ней духовную силу. Обе возможности неопределенны и зыбки даже для самого мастера; они не вполне зависят от его воли.

Неточное, неопределенное даже в вымысле не грешит против истины. Утверждение может быть ошибочным, однако не должно быть неискренним. Утверждение – неточное, но не ложное – можно постепенно, слово за словом анализировать до тех пор, пока оно в итоге не станет ясным и отчетливым. Если же высказывание изначально было лживым, его придется подкреплять все новой и новой ложью, пока в конце концов не рухнет. Оттого-то я подозреваю, что и творение началось с обмана. Будь это просто ошибка, в ходе развития рай был бы восстановлен. Но старик засекретил древо жизни.

Отсюда и мой недуг – непоправимое несовершенство не только творения, но и собственной личности. С одной стороны, это ведет к неприятию богов, а с другой – к яростной самокритике. Возможно, здесь я впадаю в преувеличение, однако, в любом случае слабеет воля к действию.

Но не волнуйтесь – морально-теологический трактат я писать не собираюсь.

¹ Venator – охотник, наблюдатель, исследователь (лат.).

² Касба – цитадель, крепость (араб.). В арабских средневековых городах также замки, могли располагаться как внутри городских стен, так и за их пределами.

2

Для начала надо уточнить, что, хотя моя фамилия на самом деле Венатор, зовут меня не Мануэль, а Мартин; именно таким именем, как выражаются христиане, я был наречен при крещении. У нас правом нарекать наделен отец; он называет новорожденного и поднимает его над головой, позволяя ему оглашать стены криком.

Мануэль же – прозвище или, если угодно, кличка, полученная на время службы в касбе; ею меня осчастливил Кондор. Кондор – мой патрон, нынешний властелин Эвмесвиля. Своей резиденцией он выбрал касбу, горную крепость, милях в двух от города, которая венчает вершину лысого холма, с незапамятных времен именуемого в народе Пагосом.

Такое взаиморасположение города и крепости встречается во множестве мест; оно удобно не только для тирании, но и для любого режима личной власти.

Свергнутые Кондором трибуны³ украдкой держались в городе и управляли им из магистрата. «Там, где есть только одна рука, она действует сильнее, используя длинный рычаг; там, где командуют многие, необходимо брожение: оно пронизывает народ, как закваска хлеб». Так говаривал мой учитель Виго; о нем речь пойдет ниже.

Почему Кондор пожелал и тем самым повелел, чтобы я прозывался Мануэлем? Нравился ли ему иберийский звук этого имени или ему просто не понравилось имя Мартин? Сперва я только подозревал, но, оказывается, действительно существует отвращение или, по крайней мере, антипатия к определенным именам, которую мы зачастую не принимаем во внимание. Многие на всю жизнь награждают ребенка именем, соответствующим их сокровенным мечтам. К вам заходит гном и представляется Цезарем. Другие выбирают имя властителя, который как раз сейчас находится у руля; так, например, у нас теперь среди богатых и бедных уже есть маленькие Кондоры. А это может и навредить, особенно в такие времена, когда нарушен порядок наследования.

Очень мало – и это касается большинства – обращают внимание на гармонию имени и фамилии. «Шах фон Вутенов» – такое словосочетание напрягает и режет слух из-за фонетической несовместимости. Наоборот, «Эмилия Галотти», «Эжени Гранде» – легко и непринужденно парят в акустическом пространстве. Разумеется, в слове «Эжени» ударение надо ставить по-французски, на последний слог. Точно так же народ отшлифовал имя Эвмен – у нас оно звучит в названии Эвмесвиля.

Вот теперь мы подошли ближе к существу дела: к врожденной музыкальности Кондора, которой имя «Мартин» претит. Оно и понятно – скопление согласных в середине слова звучит жестко и царапает ухо. Ведь патрон имени – бог Марс.

Странно, конечно, наблюдать такие нежные чувства у правителя, захватившего власть силой оружия. Это противоречие я заметил только после длительного наблюдения, хотя оно тенью падает на каждого. Ведь каждый имеет как светлую, дневную, так и ночную сторону, и некоторые с наступлением сумерек становятся просто другими людьми. У Кондора это свойство выражено чрезвычайно сильно. Внешне он, конечно, остается прежним: закоренелый холостяк средних лет, слегка горбящийся при ходьбе, как человек смолodu привыкший сидеть в седле. Прежней остается и улыбка, очаровавшая очень многих, – благосклонная и обаяющая.

Однако чувственное восприятие меняется. Дневная хищная птица, зоркий охотник, примечая добычу издали, превращается в ночного хищника; глаза отдыхают в темноте, слух

³ *Трибуны* – во времена Римской республики должностные лица, избиравшиеся плебеями по трибам, своего рода избирательным округам (отсюда название). Обязанностью трибунов была защита плебеев от произвола патрициев.

резко обостряется. Будто перед глазами опускается пелена и раскрываются новые источники ощущений.

Кондор ценит зоркость; редкому соискателю, что носит очки, посчастливится у него. В особенности это касается командных постов в армии и в береговой охране. Претендента приглашают на собеседование, в ходе которого Кондор прошупывает его с головы до пят. Кабинет Кондора возвышается над плоской крышей касбы круглым вращающимся стеклянным куполом. Во время собеседования Кондор имеет обыкновение проверять зрение кандидата – указывает на какой-нибудь корабль или очень далекий парус и просит назвать тип судна и направление его движения. Конечно же, все соискатели загодя проходят тщательное обследование, но Кондор должен лично убедиться в правильности результатов.

С превращением дневной хищной птицы в ночную и расположенность к собакам сменяется расположенностью к кошкам – и тех, и других в касбе заботливо холят. По соображениям безопасности, пространство между замком и опоясывающей его стеной не засаживают растительностью – оно голое и плоское – и рассматривают как зону обстрела. Здесь мощные доги отдыхают в тени бастионов или играют на просторе. Так как псы легко становятся докучливыми, от площадки, где останавливаются экипажи, ко входу в касбу перекинут мост.

Когда мне приходится бывать в этой зоне, я не захожу туда без дежурного служителя; меня всегда изумляет беспечность в их отношении к псам. У меня же к горлу подкатывает тошнота всякий раз, когда какой-нибудь пес тычется в меня мордой или лижет мне руки. Во многом эти животные куда умнее нас. Очевидно, они чувствуют мое замешательство, которое легко может перерасти в страх – вот тогда они бы точно на меня набросились. Никому не ведомо, когда прекращается игра. Это роднит псов с Кондором.

Доги, темные тибетцы с желтыми мордами и бровями, служат также и для охоты. Они радостно мчатся к месту сбора, заслышав рано поутру звук охотничьего рога. Их можно выпускать на любого самого сильного противника; они атакуют и льва, и носорога.

Впрочем, это не единственная свора. Вдали от касбы, но видимый с высоты, на берегу располагается целый парк с конюшнями, каретными сараями, вольерами, открытыми и крытыми манежами. Там же находится и псарня с борзыми собаками. Кондор обожает быструю верховую езду по берегу моря в сопровождении миньонов⁴ и своры палевых степных гончих, предназначенных для охоты на газелей. На бегу собаки напоминают гонщиков или ведущих мяч игроков, торжествующих здесь на арене: ум и характер принесены в жертву дикому порыву. У них узкие черепа и уплощенные лбы, мышцы нервно играют под кожей. Во время долгой охоты они загоняют свою жертву до смерти, неумолимые, будто у них внутри непрерывно раскручивается тугая спиральная пружина.

Порой газелям все же удается ускользнуть, если на них не натравливают соколов. С головы птицы снимают колпачок и подбрасывают ее в воздух; собаки, а за ними и верховые охотники устремляются вслед летящему соколу, ведущему их к добыче.

Охота на обширной, поросшей одним только ковылем равнине являет собой живописнейшее зрелище; мир становится проще, а напряжение растет. Это развлечение из самых лучших, какие Кондор предлагает своим гостям; он и сам от души наслаждается охотой, и, кажется, стих, рожденный на краю пустыни, сочинен специально для него:

Ловчий сокол, резвый пес да борзый аргамак
Дороже стоят двух десятков баб.

⁴ Миньон по-французски означает «фаворит», «любимчик», так называли молодых дворян в свите высокопоставленного аристократа или короля. Они использовались для оказания множества услуг – от охраны до участия в развлечениях.

Само собой разумеется, искусство сокольников – лов, содержание и дрессировка соколов – находится в высочайшем почете. Кречетов и балабанов отлавливают с помощью особых сетей в дикой природе; других же, белоснежных птиц, доставляют издалека, с Крайнего Севера. Желтый Хан, самый высокопоставленный гость на охотах Кондора, ежегодно привозит их ему в подарок.

Подготовкой и обучением соколов охотничьему искусству занимаются на обширном участке берега Суса. Приречье реки – идеальное место для дрессировки. В пойменных лесах гнездятся несчетные водные птицы. На ловлю рыбы они слетаются на песчаных отмелях. Цапли лучше всего годятся для обучения соколов, предназначенных для охоты на пернатую дичь. И собаки здесь нужны другие: длинноухие спаниели, охотно входящие в воду; мех у них пятнисто-белый, что позволяет стрелкам легко видеть этих собак в камышовых зарослях.

Главного сокольничего зовут Рознер; по образованию зоолог, он обратил страстность своей натуры на охоту. И сделал правильный выбор, ибо профессоров здесь сколько угодно, а этакий сокольничий – счастливая находка.

Рознер, между прочим, на самом деле профессор. Я часто вижусь с ним в касбе и в его институте, а порой встречаю его на уединенных прогулках по окрестностям. Однажды мне довелось сопровождать его – во время полета сапсанов – в одну из засад. Степь там граничит с высоченными зарослями дрока, где и прятался ловец. Приманкой служил голубь на длинном поводке. Когда сокол приблизился, Рознер толкнул голубя, заставив его вспорхнуть. А как только сапсан схватил голубя, не составляло труда подтянуть обоих к кольцу, сквозь которое пропущен поводок, – оно служило спусковым механизмом ловчей сети.

Захватывающий процесс, образчик умной ловли. Здесь используются приемы, выходящие за пределы человеческих способностей, похожие на магию и волшебство. Например, голубь должен быть уже в воздухе, когда мимо пролетает сокол, но беда в том, что заранее увидеть сокола не способен даже самый зоркий человек. Соглядатаем для сокольничего здесь выступает пестрая птичка величиной с дрозда, которую он держит рядом с голубем. С огромного расстояния она скорее угадывает, чем видит приближающегося сокола и оповещает об этом пронзительным криком.

Такая охота действует магически, потому что как бы оперяет весь окружающий мир. Словно зачарованные, охотники сливаются со своей добычей; проникаются ее хитростями. Не только темный птицелов, всю жизнь не знавший иного занятия, но и ученый орнитолог превращается в Папагено⁵, отрешается от реальной жизни. Да что говорить, даже меня опалило жаркое и мощное дыхание этой страсти.

Тут надо заметить, что я не охотник, что, невзирая на имя, охота мне отвратительна. Может быть, все мы рождены рыбаками и птицеловами, и убивать – наше предназначение. Ну что ж, значит, я изменил этому призванию. Видя травлю цапель, я скорее на стороне жертвы, а не сокола, на нее нападающего. Каждый раз цапля пытается набрать высоту, но каждый раз сокол оказывается сверху, и все кончается тем, что от жертвы летят пух и перья.

Газель – самое изящное существо на свете; беременные женщины любят держать у себя газелей, их глаза восхваляют поэты. Я видел, как тускнеет взор в конце травли. Сокол бьет крыльями в пыли, псы шумно переводят дух. Охотники же с особой радостью убивают красоту.

Но не о глазах газелей идет сейчас речь, а о Кондоре и его дневном зрении. Кстати, мне придется участвовать в охоте, причем в разном качестве, но не охотником, а наблюдателем. Охота есть регалия, первое право владетельных князей; она – суть власти, и не только символическая, а еще и ритуальная, в силу пролитой и освещенной солнцем крови.

⁵ Папагено – простодушный птицелов из оперы В. Моцарта «Волшебная флейта».

По долгу службы я больше участвую в ночной жизни Кондора. Ночью в его окружении можно видеть бледные лица в очках; зачастую это собрание напоминает совиное гнездо – профессора, литераторы, мастера бездоходных искусств, чистые эстеты, способствующие удовольствию. Острое зрение отдает здесь пальму первенства слуху. Намеки выражаются уже не в словах, а лишь в тоне или даже в мимике – говорят все тихо, и мне приходится напрягать слух. Обсуждают там другие, преимущественно художественные, темы, а об охоте говорят странными иносказаниями. Это надо видеть и наблюдать.

Помещение бара хорошо защищено от посторонних звуков; моя обязанность – обеспечить правильный настрой. Громкие и возбужденные разговоры неприятны Кондору и даже причиняют ему боль. Вот почему своим постоянным сотрапезникам и приближенным он дал прозвища, причем создающие между собой благозвучие. Например, Аттилу, лейб-медика, который находится при Кондоре практически неотлучно, называет «Альди». И если хочет напомнить мне о каких-то делах, касающихся Аттилы, говорит: «Эмануэло... Альди», что весьма благозвучно.

Когда меня, как и всех, кто близок к Кондору по долгу службы, представили ему, он первым делом подобрал мне имя: «Мануэль, Мануэло, Эмануэло» – смотря по обстоятельствам. Манера Кондора играть модуляциями голоса усиливает и углубляет воздействие его обращений. На публичном собрании «как» важнее «что», способ представления фактов сильнее самих фактов, каковые он способен не только изменять, но и творить.

«Добиваться благосклонности» – тоже искусство. Этот оборот, вероятно, придумал человек, ощутивший себя лисой в винограднике. Разумеется, когда соискатель попадает во власть, все меняется. Масса, как любовница, радостно признает своего господина, прежде впустив его в свою каморку.

Кондору я был представлен в служебном костюме – облегающей полотняной одежде в синюю полоску; костюм я менял каждый день, ибо белья под костюмом не носят. На ногах мавританские туфли из желтого сафьяна. Мягкие подошвы удобны и бесшумны, когда я двигаюсь за стойкой, где нет ковра. Наконец, упомяну еще о забавной шапочке корабликом, которую надлежит лихо сдвигать набок. В целом нечто среднее между униформой и модным костюмом; главное, чтобы мой облик сочетал служебное рвение с беззаботной веселостью.

Во время церемонии Кондор снял с моей головы шапочку-пилотку, проверяя, аккуратна ли моя прическа. Потом он произнес мое имя, присовокупив какую-то игру слов, точная формулировка которой ускользнула из моей памяти. Смысл заключался в том, что Кондор от души надеялся, что в один прекрасный день из Венатора выйдет Сенатор.

К словам властителей надо относиться серьезно. И эта его фраза допускала разные толкования. Учитывая обстоятельства, он, возможно, хотел намекнуть мне на значимость моего поста, хотя если принять во внимание положение и почести, каких достигают некоторые из его миньонов – а почему бы и нет? – то не стоит сбрасывать со счетов и ночного стюарда. В конце концов, Сикст IV делал своих эфебов кардиналами.

Возможно, правда, Кондор имел в виду и нечто личное. Симпатии Венаторов, по крайней мере моего отца и брата, к эвмесвильским трибунам известны всем. Хотя оба не проявляли особой политической активности, они всегда оставались республиканцами по убеждениям и чувствам. Старик до сих пор в должности, брата же сместили за излишне острый язык. Намек на сенаторскую должность в этом контексте мог означать: поведение родни не должно бросить тень на меня.

Мануэло: это имя символизирует своего рода покровительство. В дополнение я получил фонофор с узкой серебряной полосой – знак различия младшего чина, говорящий, однако, о непосредственной службе тирану.

3

Но довольно о моем имени и его разновидностях. Уточнения – мое призвание. Да, сейчас я выступаю в роли ночного стюарда, но это занятие заполняет лишь известные лакуны моего бытия. О чем, пожалуй, свидетельствует и моя манера речи. Внимательный читатель, вероятно, уже заметил, что по сути своей я историк.

Склонность к истории и увлечение историографией передаются в нашей семье по наследству. Они в меньшей мере основываются на цеховой традиции, чем на непосредственной генетической предрасположенности. Я имею в виду моего знаменитого предка, Иосию Венатора, чья работа «Филипп и Александр» считается важным вкладом в теорию воздействия среды и пользуется вполне заслуженным авторитетом. Труд этот многократно издавался, а в последний раз вышел в свет совсем недавно. В нем невозможно не заметить пристрастия к наследственной монархии, поэтому эвмесвильские историки и правоведы-государственники хвалят его не без смущения. Слава великого Александра должна осиять и Кондора, но прежде гений Александра должен возродиться из пепла, как птица феникс.

Мои отец и брат, типичные либералы, по совершенно иным причинам обходятся с Иосией весьма осторожно. Во-первых, и это само собой разумеется, воззрения предка мешают им соответствием политической реальности. Кроме того, их пугает возвышенная личность. Александр представляется им стихией, молнией, вспышку которой исчерпывающе объясняет напряжение меж Европой и Азией. Существует поистине удивительное единодушие либеральной и героической историографий.

Из нашей семьи уже много поколений выходят историки. В виде исключения мы дали миру одного богослова и одного шалопая, чьи следы затерялись в неизвестности. Что касается меня, то я, как положено, получил магистерскую степень, поработал ассистентом у Виго, а сейчас, будучи его правой рукой, пишу работы – сам и в соавторстве. Кроме того, я читаю лекции и курирую докторантов.

Так может продолжаться еще несколько лет; я не спешу ни в профессора, ни в сенаторы, ибо меня вполне устраивает мое нынешнее положение. Если не считать редких приступов подавленности, я вполне уравновешен. А стало быть, спокойно наблюдаю, как течет время, что само по себе доставляет истинное наслаждение. Здесь угадывается таинство табака и вообще легких наркотиков.

Над своими темами я могу работать дома, в квартире, в институте Виго или же в касбе, что предпочтительнее из-за обилия превосходной документации. Живу я здесь кум королю, и меня бы не тянуло в город, если бы Кондор терпел в крепости женщин. Их не найти даже у него на кухне, прачек, с которыми можно было бы провести время, и тех стража в крепость не пропускает. Мужья оставляют свои семьи в городе. Кондор считает, что присутствие женщин – неважно, молодых или старых – благоприятствует всякого рода интриганству. А между тем обильная еда и праздная жизнь плохо вяжутся с аскезой.

Отцу не нравилось, что я хожу на лекции к Виго, а не на его, как мой брат. Но из застольных бесед я знаю, что может предложить старик, а кроме того, вообще считаю, что Виго как историк куда выше. Мой родитель обвиняет Виго в отсутствии научного подхода, в литературщине, а тем самым упускает из виду корень силы Виго. Какое вообще отношение имеет гений к науке?

Не спорю, историк должен опираться на факты. Но Виго нельзя упрекнуть в небрежении ими. Мы живем на берегу тихой лагуны, и в нашем распоряжении великое множество выбро-

шенных морем на берег предметов с затонувших кораблей. Мы лучше, чем кто-либо, знаем, что происходило прежде в самых разных уголках планеты. Этот материал известен Вигу до мельчайших подробностей, прошедшее для него всегда современно; он знает факты и умеет наставлять учеников в их оценке. Я тоже многому у него научился.

Приблизив таким образом прошлое к настоящему и заново отстроив его подобно стенам городов с давно забытыми названиями, мы можем сказать, что проделана чистая работа.

При этом стоит заметить, что Вигу не привносит в историю никакого колдовства. Завершающие вопросы он оставляет открытыми, лишь наглядно показывает сомнительность происшедших событий. Когда мы обращаем взгляд назад, он падает на могилы и руины, на обширные груды развалин. Причем мы сами подвергаемся отражению времени: воображая, что шагаем вперед, мы уходим все дальше в прошлое. Очень скоро оно и в самом деле завладеет нами: время пройдет над нашими головами. И вот эта скорбь тенью омрачает историка. Как ученый он не более чем книжный червь, роющийся в захоронениях. А затем он задает судьбоносные вопросы черепу, который держит в руке. Главное настроение Вигу – обоснованная скорбь; она говорит со мной из моей убежденности в несовершенстве мира.

Метод Вигу отличается своеобразием; он проходит по прошлому наугад, не соблюдая хронологии. Взгляд Вигу – взгляд не охотника, а скорее садовника или ботаника. Например, он считает, что наше родство с растениями куда глубже родства с животными, и убежден, что по ночам мы возвращаемся в леса, а то и в спутанные клубки морских водорослей.

В животном царстве это родство заново открыли для себя пчелы. Их совокупление с цветами не есть ни прогресс, ни регресс развития, но своего рода взрыв сверхновой, вспышка космогонического Эроса в его звездный час. Никому пока не приходила в голову столь смелая мысль: реально лишь то, чего нельзя придумать.

Не ждет ли он подобного в царстве людей?

Как и во всяком зрелом творчестве, в его работах больше невысказанного, нежели сформулированного. Во всех его выкладках всегда остается некое неизвестное, что всегда смущает в нем тех, для кого таких неизвестных не существует, включая и его собственных учеников.

Хорошо помню тот день, когда я близко с ним познакомился. Было это после одной его лекции. Тему лекции я и сейчас помню – «Города-растения». Вигу развивал ее в течение двух семестров. Распространение культур по суше и морю, по берегам, архипелагам и оазисам он сравнивал с распространением растений через летящие по воздуху с ветром семена и через плоды, выбрасываемые на берега приливом.

У Вигу есть привычка во время лекции демонстрировать или же просто держать в руках мелкие предметы – не в качестве наглядных доказательств, скорее в качестве носителей некоей субстанции; иногда это всего-навсего крошечный черепок или осколок кирпича. В то утро таким предметом было фаянсовое блюдо с причудливым арабским орнаментом из цветов и письмен. Вигу просил присутствующих обратить внимание на краски – блеклый шафран, розовый, фиолетовый – и на блеск, созданный не глазурию и не кистью, но временем. Так грезой мерцает стекло, извлеченное из римских развалин, или черепичные крыши уединенных обителей, выжженные жаром тысячелетий.

В своем рассказе Вигу шел сюда извилистым путем – начал он с побережья Малой Азии, которое так благоприятствует укоренению на новой почве. Примером тому финикийцы, греки, тамплиеры, венецианцы и многие, многие другие.

Торговые культуры у Вигу пользуются особым предпочтением. Издревле люди творили дороги через пустыни и прокладывали морские пути, по которым везли соль, янтарь, олово, шелк, а позднее также чай и пряности. Богатства, словно мед в сотах, копились на Крите и

Родосе, во Флоренции и Венеции, в лузитанских и нидерландских гаванях. Эти сокровища превращались в высокий стиль жизни, в наслаждения, постройки и произведения искусства. Золото воплощало Солнце, благодаря его накоплению начали развиваться и расцветать искусства. Затем неизбежно добавляется налет разложения, осенней пресыщенности. Рассказывая об этом, Виго держал блюдо так, словно ожидал милостыни.

Как вышло, что он заговорил о Дамаске, а затем перенесся в Испанию, где Абдаррахман⁶ спасся от убийц? Почти триста лет процветала в Кордове ветвь истребленных в Сирии Омейядов. Помимо мечетей, на давно засохшую побочную ветвь высокой арабской культуры указывал и фаянс. Потом были построены в Йемене крепости рода Бени-Тахер. Семя упало в песок пустыни и принесло четыре урожая.

Один из предков Абдаррахмана, пятый Омейяд, послал эмира Мусу в Медный город. Путь вел от Дамаска через Каир и дальше через великую пустыню на запад, к побережью Мавритании. Поход был предпринят ради медных сосудов, куда царь Соломон заключил мятежных демонов. Рыбаки, забрасывавшие сети в Каркарское море, иногда вытаскивали вместе с уловом и эти сосуды. Сосуды были запечатаны печатью Соломона; когда их вскрывали, демон выходил оттуда в виде дымного облака, застилавшего небо.

Эмиры с именем Муса были и позднее, в Гранаде и других городах маврской Испании. Этого Мусу, завоевателя северо-западной Африки, можно считать их прототипом. Западные черты невозможно не заметить, хотя надо учесть, что в верхах различия между расами и областями размываются. Как в моральном плане люди, приближаясь к совершенству, становятся похожими, почти одинаковыми, так и здесь, в плане духовном. Отрыв от мира и материального увеличивается; растет любопытство, а с ним и соблазн приблизиться к последним тайнам, пусть и с большим риском. Это аристотелевская черта. Она ставит себе на службу искусство расчета.

Предание не сообщает, имел ли эмир опасения относительно вскрытия сосудов. Из других источников мы знаем, что это было опасно. Так, один из плененных демонов дал обет сделать своего освободителя могущественнейшим из смертных; сотни лет размышлял он об этом благодеянии. Но потом настрой его духа изменился; в узилище скопилось слишком много яда и желчи. И когда спустя еще сотни лет какой-то рыбак распечатал сосуд, он только хитростью избежал судьбы быть растерзанным демоном. Зло становится тем страшнее, чем дольше оно не находит выхода.

В любом случае понятно, что Мусу не испугало бы вскрытие сосудов. О его неустрашимости красноречиво говорит поход через пустыню. Старик Абдэссамад, владевший «Книгой тайных сокровищ» и знавший толк в звездах, через четырнадцать месяцев привел караван в Медный город. Люди отдыхали в покинутых крепостях и меж могил заброшенных кладбищ. Иногда находили воду в колодцах, вырытых Искандером во время его движения на Запад.

Но и Медный город вымер и оказался обнесен высокой стеной; прошло еще две луны, прежде чем кузнецы и плотники изготовили лестницу, достигающую гребня стены. Те, что первыми взобрались наверх, были ослеплены волшебством, хлопали в ладоши и с криком «Ты прекрасен!» бросались вниз. Так один за другим погибли двенадцать спутников Мусы, пока наконец Абдэссамад не сумел одолеть чары благодаря тому, что все время восхождения он призывал имя Аллаха, а очутившись на гребне, вознес молитву о спасении. Сквозь фантастическое видение, словно под зеркалом вод, разглядел он изуродованные тела взошедших на стену до него. И сказал Муса: «Если так ведет себя разумный, то что сделает безумец?»

По винтовой лестнице одной из башен шейх спустился вниз и изнутри открыл ворота мертвого города. Однако ж рассказ об эмире Мусе относился не к этим приключениям, хотя и они имеют свою подоплеку, а к столкновению с историческим миром, который на фоне реальности сказки превращается в призрачное видение.

⁶ Абдаррахман (731–788) – основатель Кордовского эмирата и династии кордовских Омейядов.

Поэт Талиб прочел эмиру надписи на надгробиях и стенах обезлюдевших дворцов:

Где те, чья удивительная сила
Высоких и могучих победила?
Где крепости, гордыни персов полны?
Покинут край, владык своих не помнит!
Где властелины, правившие Синдом
И жарким, многоцветным, знойным Индом,
Что зинджи с хабеши смело покорили
И Нубию мятежную громили?
Лежат в могилах, тьма над головою, —
Уж не поведать им тебе былое.
Сгубило время их, и смолкли ныне, —
Давно, давно не святы их твердыни⁷.

Стихи преисполнили Мусу такой печалью, что жизнь показалась ему обузой. Он и его спутники обошли залы дворца и в одном из них обнаружили стол, высеченный из желтого мрамора, или, по иным сведениям, отлитый из китайской стали. На нем было вырезано арабскими письменами:

«За этим столом пиновала тысяча царей, слепых на правый глаз, и еще тысяча кривых на левый глаз, — все они давно покинули мир и населяют ныне могилы и катакомбы».

Когда Талиб прочел это, у Мусы потемнело в глазах; он издал крик отчаяния и разодрал свои одежды. Потом повелел он записать эти стихи и надписи.

Едва ли боль когда-либо охватывала историка с такой силой. Это боль, мучившая человека века прежде всякой науки и сопутствует ему с тех пор, как он выкопал первые могилы. Пишущий историю хочет сохранить имена и их смысл, хочет даже извлечь на свет давно забытые и канувшие в Лету имена городов и народов. Историк будто возлагает цветы на могилу и говорит: «Вы, мертвые, вы, безымянные, князья и воины, рабы и злодеи, святые и блудницы, не печальтесь, вас помнят с любовью».

Но и эта память преходяща, она падает жертвой беспощадного времени; всякий памятник выветривается, и вместе с умершими сторае и их венки. Но почему, почему мы все-таки не отказываемся от служения? Мы могли бы удовлетвориться Омаром, устройтеlem шатров, выпить с ним до дна ширазское вино и отбросить пустой глиняный кубок: прах к праху.

Раскроет ли страж когда-нибудь их могилы, пробудит ли их к свету крик петуха? Так должно быть, и скорбь, мука историка направляет его, указывает путь. Он — судия мертвых, он судит, когда давно уже утихли восторги и ликование, пьянившие властителей мира, когда забыты их триумфы и жертвы, их величие и позор.

Но это всего лишь указание, всего лишь намек. Мука, тревога исторического человека, его неутомимая работа несовершенными средствами в брэнном мире — их невозможно почувствовать, невозможно исполнить без побуждения, порождающего этот намек. Потерю совершенства можно ощутить, только если совершенство существует. Историку ведом этот намек, дрожь пера в руке. Стрелка компаса дрожит, потому что существует полюс. Она сродни ему, сродни в своих атомах.

Как поэт взвешивает слова, так историк должен взвешивать деяния — по ту сторону добра и зла, по ту сторону всякой мыслимой морали. Стихи заклинаят муз, историк же заклинаят норн, и они являются к его столу. Наступает тишина, отверзаются могилы.

⁷ Перевод Н. Сидемон-Эристава.

Но и тут находятся расхитители, готовые ради дохода исказить стихи и деяния, – так что лучше кутить с Омаром Хайямом, чем вместе с ними глумиться над мертвецами.

4

На этом месте по аудитории прокатился шорох. Я слышал его уже из коридора, ибо, тихо открыв дверь, вышел из аудитории. Позже, в библиотеке, Виго спросил меня об этом:

«Вас, должно быть, немало смутило то, что вы услышали?»

В ответ я покачал головой. Скорее лекция меня слишком захватила – задела мои собственные устремления, разбудила мою собственную боль. Правда, не знаю, смог ли я верно обрисовать то, что говорил Виго. У него в запасе великое множество образов, которые он вплетает в свою речь так непринужденно, словно извлекает из воздуха. Они окутывают течение мыслей, нисколько их не искажая; речь его напоминает дерево, чьи цветы вырастают прямо из ствола.

Я, как уже сказано, ограничился тем, что просто покачал головой; всегда лучше – прежде всего среди мужчин – обозначить чувство, нежели разъяснять его. Я почувствовал, что он понял меня. Вот в этот миг родилась наша дружба.

Присутствовавшие на лекции явно не заметили чувства, охватившего меня тогда. Так бывает, когда между двумя людьми проскакивает искра. Раз-другой они смеялись – например, когда прозвучало слово «луны». Ну, рассмешить их легко – смех внушает им чувство превосходства.

Слово «луны», как, впрочем, и всю лекцию Виго, они посчитали старомодным чудачеством. Для них очень важна текущая минута. От их сознания ускользнуло, что Виго цитировал древний текст, следуя переводу Галлана⁸ с арабского. Но даже если отвлечься от этого, ясно же, что «луны» – фонетически, грамматически и логически – лучше, чем безликое «месяцы». Слово подпортилось, ибо его затаскали виршеплеты. И я бы не стал его употреблять. Виго выше подобных опасений; он мог бы восстановить должное уважение к языку. В любое другое время, кроме нашего, когда люди перестали воспринимать друг друга всерьез, он, несмотря на некоторые свои чудачества, пользовался бы заслуженным признанием согласно своему рангу.

Хотя в делах он строг и неуступчив, в личном плане отличается большой чувствительностью. Он мог бы, конечно, говорить все, что хочет и как хочет, даже самые бессмысленные глупости, если бы держался современности. Но субстанция истории не позволяет – она принуждает к честности. При всем желании, он ни за что бы не смог повернуть дело к своей выгоде.

Человек высокой культуры, гармонирующий с духом своего времени, издавна являл собой счастливую случайность, редкое исключение. Ныне лучше всего держаться речения старого мудреца:

Не хочешь быть обкраденным не в меру —
Скрой золото свое, уход и веру⁹.

Собственно, так поступают даже властители; они охотно рядятся в простенькую мирскую одежду. Вот и Кондор мог бы многое себе позволить, но тот очень осторожен; кому, как не ночному стюарду, судить об этом.

В нынешних обстоятельствах учителю лучше всего ограничиться естественными науками и областью их практического применения. Во всем, что выходит за эти пределы, а именно

⁸ Галлан Антуан (1646–1715) – французский арабист, переводчик сказок «Тысячи и одной ночи».

⁹ Гёте И. В. Западно-Восточный диван. Хикмет-наме. Книга изречений. Перевод С. Шервинского.

в литературе, философии, истории, он ступает на зыбкую почву, в особенности если его подозревают в metaphysical background¹⁰.

У нас к таким подозрениям прибегают два сорта преподавателей – либо мошенники, переодетые профессорами, либо профессора, ради приобретения популярности разыгрывающие из себя мошенников. В подлости каждый стремится перещеголять соперников, однако глаз они друг другу не выклевывают. Но такие умы, как Виго, ненароком попав в их среду, сразу становятся белыми воронами; против них объединяются оба лагеря. Просто удивительно, насколько они становятся единоклубны – словно под угрозой уничтожения.

Студенты, сами по себе вполне благонаправные, черпают оттуда свои девизы и крылатые фразы. Мне не хочется копаться в этой дряни. В исторических исследованиях можно, в первую очередь, выделить две точки зрения, из которых одна направлена на людей, а другая на власти, что рифмуется с подходами к политике. Здесь – монархии, олигархии, диктатуры, тирании, там – демократии, республики, толпа, анархия. Здесь командир, там экипаж, здесь великий вождь, там общество. Посвященным ясно, что эти противопоставления, хотя и необходимы, но в то же время иллюзорны – они суть лишь мотивы, приводящие в движение часы истории. Редко когда воссияет светлый полдень и противоположности сливаются в счастье.

После славной победы Кондора над трибунами мы снова стали высоко ценить «людей». В этом отношении сам Кондор ведет себя куда либеральнее профессоров, желающих любой ценой втереться к нему в доверие, – молодые по чистой глупости, а старые, бывшие при должностях еще при трибунате, из вполне обоснованной осторожности.

Здесь, словно в паноптикуме, можно проводить исследования. Например: к некоему молодому доценту приходят с теорией, каковая ему чужда и даже, можно сказать, несимпатична. Мода, однако, заставляет его заняться ею. Она, мода, убеждает его – мол, здесь нечего возразить, хотя уже в этом есть что-то не вполне чистое. Но затем он начинает вести себя как подросток, который не различает, о чем можно помечтать, а над чем необходимо задуматься. Он приобретает авторитарные и одновременно опасные черты. Университет переполнен такими недоумками, которые, с одной стороны, вынюхивают, с другой же – кляузничают, а собравшись вместе, невыносимо воняют свиным навозом. Когда же им в руки попадают бразды правления, они, не искушенные во власти, теряют всякую меру. В итоге примеряют сапоги самодура-фельдфебеля.

Сейчас Кондор и его наместник-майордом держат их в узде и не очень-то допускают до охоты на жертв, коих они полагают не заслуживающими доверия. К таким жертвам принадлежит и Виго. Поскольку теперь снова «историю делают люди», постольку предпочтение, какое Виго отдает, например, торговцам, содержащим у себя на службе солдат, считается признаком декаданса. При этом упускают из вида, что он руководствуется культурными достижениями. Так, карфагеняне ему не по душе, хотя и за них тоже воевали наемники. В сущности, он служит красоте. Именно она должна распоряжаться и властью, и богатством. Возможно, как раз поэтому он сродни Кондору – во всяком случае, его ночной стороне – куда больше, чем сам догадывается.

Как уже сказано, Виго весьма впечатлителен и трагически болезненно воспринимает означенные профессорские дразги, хотя они ничем не угрожают его безопасности. Кстати, в нашей затхлои заводи процветают всякого рода гонители, способные пролезть куда угодно. «Каждый новый ученик – пригретая на груди змея», – сказал мне как-то Виго, будучи в сумрачном расположении духа, о Барбассоро, который вообще-то принадлежал скорее к виду благородных крыс.

¹⁰ Метафизических предпосылок (англ.).

Благородная крыса – создание на редкость сообразительное, услужливое, работающее, податливое и обладающее тонкой интуицией. Она – краса своего вида, а потому просто обречена стать любимым учеником. К несчастью, по натуре своей она не в силах противостоять зову стаи. Услышав свист, она с тем же рвением, с каким служила почтенному учителю, присоединяется к стае его гонителей. Особенно опасна эта крыса своими сокровенными знаниями, приобретенными в общении с учителем. Она становится крысиным королем.

Виговская критика духа времени так зашифрована, что понять ее очень трудно. Впрочем, слово «критика» здесь не вполне уместно. Скорее его существо, его натура воспринимается как критика. Когда вокруг все движется, да вдобавок в одном направлении, будь то вправо, влево, вверх или вниз, стоящий на месте только мешает. Его воспринимают как упрек, а когда натываются на него, считают обидчиком.

Движение стремится превратить данное обстоятельство во мнение, а затем в убеждение, а тот, кто еще стоит на своем, против воли выставляет себя в дурном свете. Такое очень возможно на факультете, где после каждой смены власти всемирную историю переписывают в соответствии с текущим моментом. Учебники более не устаревают, они просто приходят в негодность.

Чтобы сделать такого, как Виго, уязвимым, нужно обладать известной проницательностью. Докучливым он кажется сразу, уже в силу своего существования. Дураки чувствуют это нутром. Остается только доказать, что докучливый, хоть и малозначителен, но, с другой стороны, также и опасен. Доказательства представят ученые мужи вроде Кессмюллера. Они – трюфельные свиньи, выкапывающие лакомый кусок. А потом на него набрасываются крысы.

Кессмюллер, лысый гомосексуалист, основательно изучил Виго. Мысли этого типа банальны, как его лысина; он – бонвиван, гурман и не чужд юмора. Как эвменист он «незаменим и неподражаем»; мог бы подрабатывать конферансом в «Каламаретто» и умеет развлечь научное сообщество. Сей талант был востребован и выручал его при самых разных, подчас враждебных друг другу режимах. Блистая на поверхности, подобно рыбе святого Петра, он обладает инстинктивным чутьем и к конформизму, и к избитым истинам, каковые изысканно стилизует. Но умеет и перетолковывать – в зависимости от того, куда дует ветер. Потребитель, материально он чувствует себя как дома при Кондоре; материалистически – при трибунах.

В своих лекциях он редко упускает возможность процитировать Виго. Лицо его при этом озаряется наслаждением. Хороший комик веселит публику уже одним своим появлением – комичным само по себе. Кессмюллер меняется как хамелеон, выскальзывает из одеяния педагога и переодевается в костюм Панталоне без всякого перехода, если не считать коротенькой паузы. Он словно ныряет в волшебный чан. Публика ждет, предвкушая, когда он откроет рот. Иные уже едва сдерживают смех.

Я специально ходил на его лекции, чтобы изучить эти кульбиты; примечательно, что, преображаясь, он едва меняется в лице. Слушатели смеются – впору заподозрить телепатию. Кессмюллер – оратор, блестяще умеющий держать паузу.

Потом он начинает цитировать Виго – предложение или целый абзац, наизусть. Иногда делает вид, будто ему вдруг пришло в голову что-то остроумное; он достает книгу, чтобы прочесть оттуда отрывок – все действие выглядит экспромтом, хотя на самом деле хорошо подготовлено. Он водит пальцем по странице, будто ищет нужное место, но соответствующие строчки давно подчеркнуты. Имя Виго при этом не упоминается, но всякий в аудитории знает, о ком речь..

Цитируемые отрывки, хотя и вырваны из контекста, текстуально точны. Кессмюллер понимает, чем обязан науке. И не делает вид, будто читает комический текст; разве что особо подчеркнуть интонацией такие слова, как «луны». Подобным же образом он выделяет слова

«высочайший» и «выше», а слово «прекрасное» он произносит как клоун, нацепивший красный нос.

Здесь он переходит в область иронии, которая у него простирается от легкой имитации до грубого обобщения. Кессмюллер пользуется ею очень искусно. И что для иронии он выбирает из текстов Виго те места, какие я особенно люблю, вовсе не случайно. В одном портовом кабаре выступает пародист, который читает стихи в гротескной манере, либо подражая выговору рабби Тейтелеса, либо натужно, словно сидя на унитаза. Для выступления пародист выбирает классические тексты и кривит рот, в точности как Кессмюллер. Станным образом стихи кажутся слушателям знакомыми; должно быть, они учили их еще в школе, иначе бы так не веселились.

Именно Виго я обязан геологической локацией Эвмесвиля: феллахское заболачивание александрийской почвы. Слоем ниже располагалась александрийская наука, зиждившаяся на классическом основании.

Ценности, стало быть, продолжали опошляться. Сначала они были современными, потом еще почтенными и, наконец, стали вызывать негодование. Для Кессмюллера уже это слово подозрительно.

До нас, по крайней мере, было послесвечение. Но теперь печь холодна, даже руки нам более не согревает. От эксгумированных богов спасенье не придет, надо копать глубже. Когда я беру в руки какое-нибудь ископаемое, например трилобита – здесь, в каменоломнях касбы, попадаются превосходно сохранившиеся экземпляры, – меня просто пленяет впечатление математической гармонии. Свежо, как в первый день, целесообразность и красота неразрывно соединены в отчеканенной рукою мастера медали. Жизнь, высокий Биос, открыла нам в этом первобытном ракообразном тайну трисекции. Позднее она снова и снова обнаруживается в самых разнообразных видах, уже не имея родства с природой; образы, симметричные в разрезе, обитают в триптихах.

Сколько миллионов лет назад обитало это существо в море, которого больше нет? У меня в руке его оттиск, печать непреходящей красоты. Но и эта печать когда-нибудь рассыплется прахом или сгорит дотла в грядущих мировых пожарах. Оставивший ее чекан хранится в законе и действует согласно ему, недостижимый для смерти и огня.

Я чувствую, как моя рука теплеет. Будь трилобит еще живым, он бы ощутил мое тепло, как кошка, когда я глажу ее по шерстке. Но тепло неизбежно ощущает и камень, в который он превратился; молекулы расширяются. Чуть больше, чуть сильнее – он, как в грезе наяву, шевельнется в моей ладони.

Я не могу перепрыгнуть границу, но чувствую, что нахожусь на пути к прыжку.

5

Травля эта была омерзительна, но, страдая от нее, Виго оказывал ей слишком много чести. Иногда, когда встречал его в библиотеке или навещал у него в саду, я находил его бледным, шурящимся от света. Он походил на сову, скрывающуюся в пещере. Стоит ей вылететь на свет, как на нее набрасывается воронье. Тогда я старался подбодрить его, взывая к его силе и предназначению. Резонов имелось предостаточно.

Виго не мог не видеть и, благодаря выдающемуся знанию истории, понимал, что такого рода дешевая травля лишь подчеркивает слабость гонителей и его силу. Его свобода – упрек, острый шип в боку этих полутрупов, которые именно поэтому без устали нападают на него, хотя сам он совершенно неагрессивен. Он никогда не был близок к трибунам, как теперь не близок Кондору; то и другое вызывало у них раздражение. Он не подстраивается под режимы. Формы государственного устройства для него словно тонкие покровы, которые непрерывно облетают. Но государство как таковое независимо от превращений – пусть им же и произведенных – явление великое, и для Виго оно было мерилom.

Он питает пристрастие к определенным формам правления, не симпатизируя какой-то одной, во всяком случае не сотрудничая с действующей властью. Зато его захватывает способ, каким формы власти сменяют друг друга, возникая внутри исторической субстанции. Люди и власти непрерывной чередой следовали друг за другом, словно мировому духу надоедали то одни, то другие – надоедали, как только иссякала вложенная в них, всегда слишком малая, его частица. Здесь – учения, идеи, идеалы, там – более или менее яркие личности. Высокая культура – затишье, напоминающее паралич воли, – снова и снова становилась возможна и здесь, и там; космическая красота прорывала оболочку, прежде всего когда она еще не заостеневала или когда давала трещину. Увертюра, как и финал, подчеркивает лейтмотив.

Вторая возможность, кажется, воодушевляет Виго больше, потому что боги тогда уже не так сильны. Их множество, как и множество государств, благотворно. Здесь богатая палитра, там – монотонность. Римляне явили образец государства, греки – образец культуры. Здесь Колизей, там – Парфенон.

«Как вы намерены всем этим внушить Кессмюллеру уважение и даже просто вести с ним дебаты? Вы только даете ему материал для шуток».

Материализм Домо более реалистичен, его предшественникам был свойствен материализм рационалистический. Оба вида поверхностны, предназначены для политического использования. При трибунах кляузники могли добиться многого, оттого Кессмюллер гармонировал с ними лучше.

Однако весьма значительна также рафинированная угодливость, за счет которой он сумел приспособиться и к Кондору. Моему брату и моему родителю это удавалось хуже. И дело тут в разнице между выдавшим виды либералом и отпетым доктринером, живущим посулами. Все есть развитие, путь к раю на Земле. Все можно раздуть до бесконечности.

«Вам стоило бы рассматривать эти фигуры как храмовых стражей, которые своими рожами отпугивают от вас наиболее гнусных дураков. Разве вы хотите, чтобы и на ваших лекциях царила такая самодовольная удовлетворенность? Таких надо отправлять туда, где они поклоняются своим богам. Там становится явным макияж рутины, обнажаются глиняные ноги».

Виго, впрочем, как и мой родитель, полагает предпосылкой почтение к объективному знанию. Но как такое возможно при всеобщей потере почтительности? Он ведь живет в эпоху, когда театральное представление, парад, воздание почестей, парламентский акт и даже лекция могли стать праздником – но как возможен праздник без сопутствующей ему радости? Сюда

же добавляется и педагогическая страстность Виго, каковая у меня, хотя и я, вероятно, когда-нибудь стану ординарным профессором, отсутствует начисто.

Не то чтобы я был к этому неспособен. Вполне способен, как, например, тот, кто становится генералом, поскольку в его семье так заведено исстари. Он знает ремесло, знает, как обучить солдат, обладает хваткой. И может быть генералом при любом режиме, даже при совершенно враждебном, и часто вдруг оказывается на стороне противника, что типично почти для всех революционных генералов. Страсть остается незатронутой – как у Жомини, который в разгар битвы воскликнул: «Черт побери, хотел бы я сейчас командовать противной стороной – вот был бы праздник!» То же можно сказать и об историке. Чем меньше он увлечен, тем беспристрастнее его суждение; тут Эвмесвиль благодатная почва.

Человека, знающего толк в своем деле, ценят всегда и везде. Кстати, в этом заключен шанс на выживание для аристократа, чье дипломатическое чутье поистине незаменимо. Надо будет – после наших исландских объятий – обсудить это с Ингрид как тему ее диссертации.

* * *

Специалист тем сильнее, чем неопределеннее субстрат, на котором он передвигается. Никакой связи, никакого предубеждения; сила экспоненциально вырастает из базиса. Кто менее всех обогащен этически и этнически, подобен матадору с его стремительными поворотами и хамелеонскими превращениями.

В самом чистом виде означенные качества воплощает в себе великий шпион, и не случайно. На каждого мастера шпионажа рождается и антипод; все коренится гораздо глубже, чем раса, классовая принадлежность и отечество. Люди это чувствуют и своим поведением показывают, что не все гладко – Шварцкоппен смотрел на Эстергази только в монокль, а князь Урусов не подавал руки Азефу.

* * *

Внутренний нейтралитет. В делах участвуют по своему усмотрению – в каких угодно и сколько угодно. Когда в омнибусе становится некомфортно, человек выходит. Если не ошибаюсь, Жомини был швейцарцем, кондотьером, как в эпоху Возрождения, швейцарским наемником высокого уровня. Надо будет ознакомиться с подробностями в люминаре или поручить Ингрид.

Генерал – специалист в той степени, в какой владеет своим ремеслом. Помимо его и помимо любых за и против, он держит в резерве третью возможность: собственную натуру. Ему ведомо куда больше, чем он показывает и преподает, он знает и другие искусства, кроме тех, за которые ему платят. Но держит их при себе; они – его собственность. Он бережет их для досуга, для внутренних монологов, для ночей. И в удобный момент пустит в ход, сбросит маску. До сих пор он хорошо выдерживал гонку; при виде цели задействует главные резервы. Судьба бросает вызов, и он отвечает. Сновидение становится явью, и на любовном свидании тоже. Но и здесь все мимолетно; любая цель остается для него проходной. Скорее сломается лук, чем он выберет окончательную цель.

Словом «генерал» здесь обозначен индивид, который вступает в действие – по собственной ли воле или под давлением обстоятельств. Поскольку анархия дает ему наиболее благоприятный шанс для рывка, постольку сегодня сей тип вездесущ. И слово «генерал» имеет не специальный, а обобщенный смысл. Его можно заменить как угодно. Оно обозначает не положение, а состояние. Генерал может воплотиться в кули – и тогда будет даже особенно взрывоопасен.

* * *

Виго обладает громадными резервами, но использует их неправильно. Он растрчивает их, пытается поделиться ими и ждет, что они будут оценены по достоинству. Стоит ли показывать золото в сомнительных заведениях? Ведь только угодишь под подозрение, а вот чаевые там возьмут с радостью; хватит и одного обولا.

Он вполне сознает свою цену, но не умеет обратить ее в ходячую монету. Князь царства духа обшаривает карманы в поисках мелочи.

Когда стал ассистентом, а затем и другом Виго, я видел свою главную задачу не в том, чтобы помогать ему проводить люминары, а в том, чтобы создать для него круг, где бы не все пропадало втуне, – круг людей, достойных его.

Кто ищет, тот находит; в Эвмесвиле тоже есть натуры, страдающие от духовной ностальгии, пусть даже таких один на сотню, а то и на тысячу. Достаточно трех, пяти или семи слушателей для прогулки по саду или для вечернего чаепития, где Виго мог чувствовать себя уютно. Ингрид, сменившая меня в должности ассистента, была из таких.

Мы старались сохранить в тайне и приглашения на чай или на прогулку, и случайную встречу возле могил, которая претендовала на особую задушевность. Тем не менее неизбежно поползли слухи, как всегда, когда немногие обособляются от остальных. Ко мне обращались и любопытные, и жаждавшие познания, и мне было из кого выбрать.

* * *

В иные часы отворялись ворота истории и раскрывались могилы. Из них выходили мертвецы со своими страданиями, своими радостями, чья сумма всегда одинакова. Они вставали навстречу солнечному свету, что освещал и их, и нас. Лучи касались их чела; я ощущал тепло, словно трилобит шевелился в моей руке. Нам позволялось разделить их надежду; и всегда то была разбитая надежда, передающаяся из поколения в поколение. Они сидели среди нас, зачистую и друга от врага уже трудно отличить; мы могли обсуждать их распри. И становились их адвокатами; ведь каждый был прав.

Мы протягивали друг другу руки – они были пусты. Но мы передавали его дальше – богатство мира.

* * *

Мы вместе сидели в саду. Близилась ночь; полная луна стояла за касбой, врезанной в ее диск, словно печать. Четко обозначались купол и минарет.

Временами один из нас покидал круг, чтобы подышать воздухом, как когда-то я после лекции об эмире Мусе и Медном городе.

Наконец, кажется, пресытился собранием и сам Виго – нет, он не устал, ибо глаза его горели; он просто встал и сказал: «Дети, оставьте меня одного».

6

Пока достаточно об имени и профессии. Остается уточнить мою политическую благонадежность. Она неоспорима; иначе как бы я мог работать в ближайшем окружении Кондора – в прямой его досягаемости? Я ношу фонофор с серебряной полосой.

Конечно, меня проверили – разобрали по косточкам, выпотрошили и просеяли. Я невысокого мнения о психологах и об их приемах, но надо отдать им должное: они знают свое ремесло. Ловкие ребята, от них не скроется ни один человек не то что с темными намерениями, но и с неверными мыслями.

Начинают они очень ласково и непринужденно, после того как врачи выяснят телесное здоровье, а полицейские раскопают все прошлое кандидата, вплоть до дедов и бабушек. Пока одни за чаем болтают с кандидатом, другие внимательно прислушиваются к его голосу, всматриваются в его жесты, в его лицо. Кандидат проникается доверием, начинает откровенничать. Незаметно регистрируются реакции: частота пульса, давление крови, испуг с его паузой, следующей за каким-либо именем или вопросом. К тому же у них есть психометры, которым позавидовал бы и старик Рейхенбах¹¹. Эти приборы показывают, как лоб, волосы, кончики пальцев излучают желтую или фиолетовую ауру. Что для прежних философов было метафизическими областями, для них есть парапсихологическое пограничье, и они считают весьма похвальным, что подходят к нему математически. Понятно, что в работе они прибегают к гипнозу и наркотикам. Капельку снадобья в чай, крупинку цветочной пыльцы – и вот мы уже не в Эвмесвиле, а в горах Мексики.

Вздумай дружественные соседи – Каппадокия или Мавритания – заслать своего агента или ассасина, его раскроют в три дня. Куда опаснее опытные эмиссары Желтого и Синего Хана; невозможно помешать им угнездиться в гавани или городе. Они живут и действуют там, пока не обнаружат себя каким-нибудь неосторожным движением. В касбу они не суются.

* * *

Мой случай не стал для комиссии головной болью; моя кандидатура прошла без проблем. Осмелюсь утверждать, я прямолинеен и не склоняюсь ни в какую сторону – ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз, ни на восток, ни на запад, – я уравновешен. Хотя меня и занимают означенные противоположности, но только исторически, не в их актуальном проявлении; политика мне не интересна.

Известно, что мои отец и брат симпатизировали трибунам, правда, умеренно и даже не без скромной критики. В Эвмесвиле так принято, исключений почти не было. Да и к чему? Булочник, композитор, профессор – у всех у них другие заботы, им незачем вступать в политику; каждый в первую очередь хочет сохранить свою булочную, служить искусству и хорошо преподавать, а не тратить попусту свои лучшие годы; ему просто хочется выпить. Кроме того, любого из них легко заменить; другие только и ждут подходящего момента.

И вообще можно сказать, такие типы более удобны для преемников, чем «несгибаемые, верные идее и высоко держащие знамя» и в целом заслуживающие похвалы, которая перековывалась из военного жаргона в жаргон гражданской войны. В некрологах они выглядят превосходно. Но как выжившие очень скоро опять становятся неприятны.

Проверяющие знают – восторженность подозрительна. И для меня было большим плюсом, что о Кондоре я всегда говорил, по сути, как историк. Кажется, под влиянием какого-то тяжелого наркотика даже сказал: «Он не народный вождь, он тиран».

¹¹ Рейхенбах Ханс (1891–1953) – немецкий философ-позитивист и логик.

Они знают – безоговорочная преданность опасна. Политика, писателя, актера почитают издалека. Когда же, в конце концов, дело доходит до непосредственной встречи с идолом, он может не оправдать ожиданий. Настроение тогда может кардинально измениться. Если выпадает невероятная удача войти в спальню дивы, разочарование неизбежно. С одеждой спадает и божественность. Эрос сильнее всего манит нечаянностью, неожиданностью.

Склонности к церемониям они у меня не нашли. Я оставался нормальным, как бы глубоко они ни копали. И прямолинейным. Кстати, нормальное редко совпадает с прямолинейным. Нормальное есть человеческая конституция; прямолинейность – логический разум. Именно им я их удовлетворил. Человеческое же настолько всеобщее, настолько загадочно, что они не принимают его во внимание, как воздух, которым мы дышим. Так они не умели проникнуть в мою анархическую структуру.

Звучит сложно, но на самом деле все просто, ибо всякий человек анархичен; это и есть норма. Разумеется, анархичность с самого первого дня ограничивается отцом и матерью, государством и обществом. Таких урезаний, сокращений первобытной силы не избежит никто. Приходится с этим мириться. Однако анархичное остается, тайно живет в глубине и часто остается неведомо даже самому носителю. Оно может, как лава, вырваться наружу и уничтожить или освободить человека.

Здесь необходимо одно различие: любовь анархична, брак нет. Воин анархичен, солдат нет. Смертельный удар анархичен, хладнокровное убийство нет. Анархичен Христос, но не Павел. Поскольку же анархичное – норма, оно есть и в Павле и порой мощно из него выплескивается. Это не противоположности, а скорее градации. Мировой историей движет анархия. Итог: свободный человек анархичен, анархист нет.

* * *

Будь я только и исключительно анархистом, они раскололи бы меня без труда. У них особое чутье на личностей уклончивых, на тех, кто «спрятал кинжал в складках плаща», стремятся войти в доверие к власти имущим. Анарх может жить в одиночестве, анархист же социален и должен объединяться с себе подобными.

Как и везде, анархисты есть и в Эвмесвиле. Они образуют две секты – анархистов добродушных и злобных. Добродушные не опасны, они грезят о золотом веке, их святой – Руссо. Идеал вторых – Брут. Они собираются в подвалах и мансардах, а также в задней комнате «Каламаретто». Они кучкуются, как обыватели, которые пьют пиво и одновременно хранят неприличную тайну, выдавая ее хихиканьем. Они состоят на учете, и, когда начинается формирование ячеек и за дело принимаются химики, наблюдение за ними усиливают. «Нарыв скоро вскроется». Так говорит Maiordomo maior¹², которого Кондор коротко называет «Домо»; я пользуюсь этим сокращением. Прежде чем доходит до покушения, злоумышленника берут под стражу или предотвращают преступление. Нет лучшего средства против зарвавшейся оппозиции, чем приписать ей покушение.

Размытый идеализм анархиста, его доброта без сострадания или же сострадание без доброты делают его полезным на многих направлениях, в том числе для полиции. Конечно, он угадывает секрет, но может только угадывать – безграничную власть одиночки. Она одурманивает его; он растрчивает себя попусту, как мотылек, сгорающий в пламени. Абсурдность покушения заключена не в злодее и его самосознании, но в злодействе и его связи с мимолетной ситуацией. Злодей продает себя слишком дешево. И потому намерение его обычно оборачивается своей противоположностью.

¹² Главный мажордом (ит.).

* * *

Анархист зависим – во-первых, от своей невнятной воли, во-вторых, от власти. Он тенью следует за властителем; государь должен всегда его опасаться. Когда Карл V со своей свитой стоял на башне, один капитан вдруг рассмеялся, а когда допытались о причине, признался, что ему пришла в голову мысль: если он обнимет императора и бросится с ним вниз, то имя его навеки войдет в историю.

Анархист – противник монарха и замышляет его уничтожение. Он стреляет в личность, но укрепляет династию. Суффикс «-изм» обладает сужающим значением, возвышает волю за счет сущности. Этим замечанием я обязан грамматике Тоферну, большому, между прочим, педанту.

Позитивная антитеза анархисту – анарх. Он не противник монарха и держится от него как можно дальше, не соприкасается с ним, хотя опасен и он. Он не противник монарха, но его дополнение.

Монарх хочет повелевать многими, даже всеми; анарх – только самим собой. Это сообщает ему объективное и, пожалуй, скептическое отношение к власти, фигуры которой он пропускает мимо себя, не касаясь их; однако внутренне они вызывают у него душевные движения, не лишённые исторической страстности. Каждый прирожденный историк в большей или меньшей степени анарх; если он значителен, то на этом основании, не принадлежа ни к какой партии, достигнет должности судьи.

Это касается моей профессии, к которой я отношусь со всей серьезностью. Кроме того, я ночной стюард касбы и к этой должности отношусь не менее серьезно. Здесь я непосредственно вовлечен в события, имею дело с живыми людьми. Анархичность не вредит моей службе. Скорее способствует ей как нечто общее, разделяемое мною с другими, но один только я это сознаю. Я служу Кондору, тирану, такова его функция, моя же – быть его стюардом; мы оба можем апеллировать к человеческому в его безымянной ипостаси.

* * *

Когда, работая с люминаром, освежал в памяти государственное право – от Аристотеля до Гегеля и далее, – я наткнулся на аксиому одного англосакса, касающуюся равенства людей. Он ищет равенство не в переменчивом распределении власти и средств, а в константе: каждый может убить каждого.

Общее место, разумеется, хоть и выраженное шокирующей формулой. Допущение возможности совершить убийство входит в потенциал анарха, который таится во всех людях, только вот они редко его осознают. Оно дремлет на дне души, даже когда двое людей приветствуют друг друга на улице или стараются уклониться от встречи. Но когда стоишь на вершине башни или на пути приближающегося поезда, допущение просыпается, подступает ближе помимо технических опасностей, мы чутко регистрируем близость другого, и этим другим может быть родной брат. Давний поэт, Эдгар Аллан По, с геометрическим изяществом показал это в «Низвержении в Мальстрём». Как бы то ни было, мы стараемся обеспечить себе возможность отступить. Потом начинается сумятица катастрофы, плот «Медузы»¹³, голод в спасательной шлюпке.

Тот англосакс свел все к механистической формуле. Свою роль сыграл здесь и опыт гражданской войны. Эта мысль подводит к Декарту. В человеческом действует зоологический, а

¹³ «Медуза» – французский фрегат, потерпевший крушение у берегов Африки в 1816 г.

еще уровнем ниже – физический закон. Мораль, инстинкт и чистая кинетика определяют наши поступки. Наши клетки состоят из молекул, а они в свою очередь из атомов.

* * *

Я коснусь этого лишь постольку, поскольку оно имеет отношение к моей службе. Так или иначе, со всем этим знанием я нахожусь в пределах досягаемости Кондора, в самом близком его окружении, которое монсеньор на итальянский манер называет «парвуло». Я могу убить его – эффектно или тайком. Его напитки – он особенно любит легкое красное вино – в последнюю очередь проходят через мои руки.

Правда, маловероятно, что я убью его, хотя и не невозможно. Кто знает, как могут сложиться обстоятельства? Короче говоря, мое знание в первую очередь чисто теоретическое, но оно важно, ибо ставит меня на одну ступень с ним. Я не только могу его убить; я могу его и помиловать. Все зависит только от меня.

Естественно, я не стал бы стрелять в него только потому, что он тиран; для такого я слишком хорошо знаком с историей, а в особенности с той ее моделью, которая сложилась в Эвмесвиле. Тиран, не знающий меры, сам доводит себя до плачевного конца. Казнь можно оставить анархистам; им только того и надо. Собственно, поэтому тирании редко бывают наследственными; в отличие от монархий они едва ли передавались по наследству дальше внуков. Парменид унаследовал тиранию от своего отца, «как болезнь». По Фалесу, самое редкое, с чем он сталкивался в своих путешествиях, – это старый тиран.

С такими вот исходными позициями отправляю я свою службу, причем, возможно, лучше многих других. Я ему ровня; разница лишь в одежде да в церемониях, которыми пренебрегают только глупцы; люди сбрасывают парадное одеяние, когда дело совсем уже дрянь.

То, что я сознаю свое равенство с Кондором, идет службе скорее на пользу; я настолько свободен, что исполняю ее легко и непринужденно, как танец. Часто служба затягивается допоздна, но, если дело спорилось, я мысленно хлопаю себя по плечу, прежде чем запереть бар, как артист, которому удался номер.

Власть имущие ценят такое настроение, особенно в узком кругу, в парвуло. Раскованность окружения добавляет им удовольствия. Правда, ее необходимо дозировать. Разумеется, я не пью, даже если меня угощают, а так бывает, когда приезжает Желтый Хан, – в таких случаях осторожность особенно уместна.

В разговоры я никогда не вмешиваюсь, хотя и внимательно за ними слежу; иногда они меня просто завораживают. Улыбка моя безучастна, она входит в мои служебные обязанности, но я никогда не смеюсь вместе с другими, даже когда есть повод. Я – часть обстановки, как гобелен.

Смею предположить, что Кондор мной доволен. Его «доброй ночи, Мануэло», когда он уходит из бара, звучит весьма благодушно. Временами он осведомляется о моих научных занятиях. Кондор имеет склонность к истории, особенно к эпохе диадохов, что понятно, учитывая ситуацию в Эвмесвиле. Интересуется Кондор и историей морских сражений; прежде чем захватил власть, он недолго командовал флотом. Переворот начался обстрелом города с моря.

Эта интерлюдия оставила в нем дилетантскую страсть к морской атрибутике. В касбе он, по-моему, чувствует себя как на корабле, на котором волею судьбы плывет сейчас по волнам времен. Напитки я заказываю на камбузе, стол в кают-компании сервируют стюарды. Башня касбы напоминает капитанский мостик; и женщин на борту нет.

Свой жизненный путь Кондор начал в пехоте; отец его был фельдфебелем, солдатом удачи. Однажды мне довелось слышать его разговор с Домо, который всегда сидит по правую руку от него. Речь шла о надежности войск; на первое место была поставлена гвардейская пехота. За ней шли кирасиры; на гусаров надежды мало. Сопоставления распространились

далее на моряков и летчиков. Домо, отвечающий за государственную безопасность, очевидно, продумал этот вопрос и теоретически:

«Чем человек быстрее передвигается, тем внимательнее надо за ним следить».

7

Теоретическим их разговор был еще и потому, что у нас вообще нет речи о каких-либо войсках. Эвмесвиль со всей своей территорией и островами образует оазис между царствами диadoхов, которыми правят великие ханы, и сателлитными городами-государствами. На севере наши земли граничат с морем; в зависимости от настроения я называю его то Средиземным морем, то Атлантическим океаном. На юге территория растворяется в пустыне. Подступы к ней охраняет пограничная стража.

От пустыни тянутся степи, поросшие жестким густым кустарником, затем девственные леса, которые после сильных пожаров стали еще гуще, и, наконец, опять океан. Во всех этих местах превосходная охота. Обилию дичи должны мы быть обязаны тем, что Желтый Хан простер над Эвмесвилем свою защищающую длань. Подготовка к его визитам составляет важнейшую часть внешней политики, а приезжает он ежегодно.

Организуют охоту по всем климатическим поясам, вплоть до крупной дичи отдаленных степей. К тому же нельзя забывать о развлечениях, о сюрпризах для избалованного гостя с железным здоровьем и ненасытным аппетитом. «В тяготах я наполняю колчан, опустошаю же его в удовольствии».

* * *

Наверняка существует тесное родство между преследуемым и тем, кто его преследует. У каждого егермейстера свой тотем; главный из них надевает личину волка. Можно догадаться, кто охотится на льва, кто – на буйвола, а кто – на кабана. К этому добавляются движения и повадка. Не хочу обобщать, ведь есть не только соответствия, но и дополнения. Так, например, Желтый Хан, начиная охоту на слонов, выпускает против них вооруженных клинками карликов, которые незаметно подкрадываются к животным. Вообще к охоте он относится старомодно, почти не прибегает к пороку и оптическим приборам. Жестокий к людям, с животными он играет по рыцарским правилам.

Большая охота на краю непроходимых южных лесов. Там, должно быть, скрываются дикие звери, каких до сих пор никто не видел, о каких только ходят слухи. Многие считают их бредовым вымыслом авантюристов, дерзнувших углубиться в эти дебри и воротившихся оттуда в смертельной лихорадке.

Между тем именно эту часть охоты хан, видимо, считает венцом всего мероприятия. Он нанимает разведчиков, в первую очередь тех же карликов, которым нет равных в искусстве чтения следов; привлекает он и ученых, тех, что на факультетах не ко двору, наполовину мифологов, наполовину толкователей сновидений, над ними насмехается не только зоолог Рознер, но даже мой родитель. Он приравнивает их к алхимикам, которые в давние времена предлагали государям свои услуги, утверждая, что умеют делать золото. Вполне оправданная аналогия – и здесь, и там надежду возлагают на трансмутацию, хотя эти мечты неизменно бывают обмануты.

Без сомнения, эти леса полны чудес; на опушках нет-нет да и обнаруживают новых животных и находят новые растения. Так, подтвердились иные слухи, какие со времен Геродота считали сказками. Но речь не об этом. Раньше ученые полагали, что после потопов возникают не только новые виды, но и новые роды. Но теперь роль воды перешла к огню; изменения разделяются пылающими завесами.

* * *

Листая в люминаре старинные фолианты, напечатанные еще до времен великого Линнея, я часто натываюсь на изображения существ, живших исключительно в людских фантазиях, но столь прочно там утвердившихся, что их изображали, – например, единорога, летучего змея, козлоногого человечка, русалку. В особенности леса считали пристанищем всего диковинного и необычного и даже описывали разные чудеса; например, некий доктор Геснер описал лесного черта, «колдовское отродье», четвероногое, со шпорами на пятках, с венцом из женских грудей и человеческой головой. Его якобы поймали в Зальцбургском епископстве в 1531 году от Рождества Христова, но через несколько дней он умер, так как отказывался от пищи.

Это напомнило мне о случае, напугавшем Периандра¹⁴, который кой-какими чертами кажется мне похожим на Кондора. Один из пастухов показал Периандру некое существо, спрятанное у него под хламидой. Оно было рождено кобылой – жеребенок с человеческой головой. Периандр велел призвать Фалеса и попросил его истолковать находку. И Фалес посоветовал Периандру впредь не приставлять к лошадям молодых пастухов, разве только женатых.

В те времена мифическая эпоха была слишком недавним прошлым, чтобы ставить под сомнение возможность таких отродий – и вот сегодня, в Эвмесвиле, они вновь замаячили перед нами. Похоже, змея кусает себя за хвост.

* * *

Эти заметки не отклонение от темы; они как раз касаются сути, ведь именно по такой причине мне до́лжно не спускать глаз с Аттилы, который обычно сидит по левую руку от Кондора, особенно в поздний час – ибо, если кто и знает, что разыгрывается в лесах, так это он, Аттила.

По всей вероятности, именно там он почерпнул сокровенное знание о наркотиках и целебных средствах. Синтетическую их структуру он знал и раньше. Я, виночерпий, имею с ним дело, когда он прописывает Кондору или его гостям какие-либо добавки. При этом не могу не отметить, что обращается он к чудодейственным средствам, слывающим суеверием и давно исчезнувшим из аптек. Так, я обязан смешивать иные напитки в скорлупе морского кокоса, сиречь пальмового плода, который плавает в бухтах Суматры и считается плодом дерева, растущего на морском дне. Однако же кое-кто полагает, что их приносит туда птица гриф. Ювелиры оправляли их скорлупы в золото, делали кубки – ведь это якобы верное средство, даже против сильнейшего яда.

Кажется, Аттила верит и в силу единорога; возможно, это его тотемное животное. Сегодня известно, что витой рог принадлежит вовсе не белому коню, прячущемуся под сенью лесов, а киту северных морей. Такие рога хранили в сокровищницах. И когда врачи прекращали лечить безнадежно больного, достаточно было добавить в чашу с вином щепотку растертого рога, чтобы поставить умирающего на ноги.

Не менее ценным слывет и корень мандрагоры, с которым я имею дело чаще. Он служит прямо-таки волшебным средством, особенно для укрепления мужской силы. Говорят, только благодаря мандрагоре Желтый Хан обладает поистине геркулесовыми способностями на означенном поприще. Это лакомство для великих мира сего, ведь чтобы выбрать корни надлежащей величины и свойств, требуется соблюсти множество условий. Дикие растения, а целебны только они, уединенно произрастают в глухих уголках вокруг Кукунора; там их называют жень-

¹⁴ Периандр – тиран Коринфа (ум. ок. 588 г. до н. э.).

шенем. Тот, кто знает такое место, хранит его в тайне; помечает секретным знаком и выкапывает корень в нужный час полнолуния.

В баре корень хранится под замком, ибо китайские повара падки на него, как наркоманы на опиум. Мне известно кодовое название коктейля, куда я добавляю корень. Когда Желтый Хан в поздний час вдруг изъявляет такое желание, значит, лупанариям западной окраины предстоит выдержать монгольский набег.

8

Когда я еще колебался, стоит ли принимать должность, именно Виго настоятельно советовал мне согласиться:

«Мартин, там вы сможете увидеть многое, что станет для вас неоценимым опытом».

Он имел в виду наблюдение способов, какими решаются и воплощаются в жизнь вопросы власти, – живое познание методики на практической модели. Историка здесь ожидало бесценное зрелище, особенно в парвуло.

Виго отличает взгляд хирурга от взгляда анатома; первый хочет оперировать, второй интересуется только строением. Для первого время ограничено, второй располагает им по своему усмотрению. Исторiku не найти места более благоприятного, чем Эвмесвиль, ибо в нем умерли все ценности. Исторический материал истребил себя в страсти. Идеи выродились, и странными представляются жертвы, принесенные когда-то на их алтарь.

С другой стороны, картины набирают отчетливости, ибо их не затемняют пустые мечтания. Когда, например, Кондор разыгрывал роль чего-то среднего между просвещенным деспотом и откровенным тираном, он таким образом воссоздавал прошлое. И, по мнению Виго, я должен ради эксперимента понаблюдать за этим вблизи и сместить акцент – стоя за стойкой бара, я окажусь ближе к действительности, чем тот, кто в силу серьезного к ней отношения всего лишь ее имитирует.

До сих пор я всегда мог следовать советам учителя и из этих соображений принял пост. Не стану утверждать, что они были единственной причиной, ибо подобные решения весьма сложны. С должностью были связаны немалые плюсы: много свободного времени для научной работы, доступ к люминару, приличное жалованье, фонофор с серебряной полосой и аура близости к властителю.

Очень скоро я заметил, что одного только исторического взгляда недостаточно. Лишенный истории человек становится свободнее, но и власть, которой служат по обязанности, непредсказуемо меняется. Ночами, когда я обслуживаю парвуло, мне порой становится просто жутко. Обсуждаются вещи, о которых Виго не желал знать, в которые не вникал и не вступал, как долго пытался и я. Когда господа молчат, атмосфера словно накаляется еще сильнее, чем когда они роняют полузатушеванные слова, какие даже в своем кругу опасаются произносить. Тогда Домо делает мне знак. Я должен разрядить обстановку и сгладить страсти.

Без сомнения, то же касается леса. Там ожидают трофеи и опасности, напоминающие скорее о походе аргонавтов, чем о великих эпохах исторической и даже доисторической охоты.

* * *

Когда я вступил в должность, мой родитель повел себя как истинный либерал – с одной стороны, ему было неловко оттого, что я стал кельнером, с другой стороны, он еще больше укрепился в своих политических воззрениях. В глазах Кадмо – так зовут моего брата – я просто заделался княжеским холопом. Старик – патриций, словно пришедший с шембартлауфа¹⁵, а братец – закоренелый анархист, правда, лишь до тех пор, пока ничем не рискует. Степени свободы, когда человеку можно и дозволено все, чужды обоим.

Возвращаясь из касбы, я живу с ними в одном доме; за столом у нас случаются неприятные разговоры. Они оба не могут отступить ни от политических, ни от социальных тем. Вот почему я с большей охотой иду в сад Виго или в маленькую городскую гостиницу у моря, где снимаю мансардную комнату старого здания, которое раньше составляло часть бастиона. Из

¹⁵ Шембартлауф – карнавальное шествие в Южной Германии.

окна я могу забросить удочку, но рыбины, медленно шевелящие плавниками вниз, кормятся в стоках нашей Субуры, и у меня нет ни малейшего желания их есть. Иногда на подоконник садится чайка. Внизу, под моим окном, стоят на улице столики винного кафе, а в доме расположена колбасная лавка, где чайкам всегда есть чем поживиться.

Мансарда голая и скудная; крошащиеся стены инкрустированы, словно инеем, морской солью. Я бываю там, чтобы медитировать и смотреть в морскую даль, вплоть до островов и дальше – особенно на закате. Обстановка в комнате простая – стол, кресло, брошенный на пол матрац. На подставке умывальный таз, под ним кувшин. Вдобавок ночной горшок, чье содержимое я выливаю в окно, поскольку, особенно когда я пьян, хождение по лестницам меня сильно утомляет. На стенах ни картин, ни полок с книгами, вместо них – зеркало над тазом, как уступка Ингрид, которую я привожу сюда после нашей работы в библиотеке или посещения Виго за стенами города. Она задерживается у меня на час, не больше; это что-то вроде надлежащего вознаграждения учителю.

Дома я появляюсь, только чтобы пообедать, да и то не всегда. Собственно, даже профессиональные наши разговоры бесплодны, так как ведутся с позиций, не имеющих между собой ничего общего – с позиции метаисторика, покинувшего поле истории, и с позиции его партнеров, воображающих, что они все еще на этом поле. Это приводит к временным разрывам внутри наблюдения: они еще роятся в труп, а для меня он давным-давно стал окаменелостью. Иной раз даже забавно – когда они горячо отстаивают ценности, которые в Эвмесвиле уже выглядят разве что пародией. Оба они типичны для нашей эпохи, и в таком смысле их можно даже принять всерьез.

* * *

Если я охотно называю своего старика родителем, это не значит, что я невысоко его ценю. Наоборот, только вот он не соответствует взятой на себя роли и в лучшем случае похож на комедианта, наклеившего бороду рождественского деда. Поденщик, рыбак, портовый грузчик исполняют свои роли более достоверно. Удивительно, что именно такие свободолюбцы, как родитель, требуют уважения в пределах иерархий, уничтоженных еще их дедами.

Женат он был дважды. Здесь, в Эвмесвиле, обычное дело, что, начиная подниматься по общественной лестнице, какой-нибудь функционер без разбору берет в жены первую попавшуюся. Если ему сопутствует успех, эта первая жена перестает его удовлетворять – что молодостью и красотой, что умением себя подать. И он меняет ее, так сказать, на символ статуса. В нашем расовом котле яркое тому свидетельство, что цвет кожи у новой жены куда светлее.

Тот, кто начинает с более высокой ступени, ведет себя иначе; сначала делает карьеру и достигает прочного положения. Только когда он прочно сидит в седле, в середине жизни, в нем зарождаются другие желания. Теперь Афродита требует от него запоздалой жертвы. И порой случаются промахи. Один высокопоставленный генерал недавно попал в ловушку известной городской потаскушки. В касбе такие вещи воспринимают с юмором. Я как раз прислуживал в парвуло, когда Домо рассказывал об этом Кондору. Тот рассмеялся: «Теперь у него нет недостатка в шурьях». У самого Домо, как говорили в старину, тоже есть «пятна на жилете», но в случае чего он становится весьма высоконравственным.

Профессора охотно женятся на студентках – из тех, что сидят на лекциях в первом ряду, околдованные интеллектуальными чарами. Иногда все кончается хорошо. Мой родитель закрытил с секретаршей и ради нее развелся; первая его жена до сих пор живет в городе. Она родила отцу Кадмо; расстались они мирно – время от времени старик навещает ее, чтобы освежить воспоминания.

Моя мать умерла рано, я учился в младших классах. Ее смерть я воспринял как второе рождение. Меня, теперь я понимаю, просто вышвырнуло в яркий, холодный и чуждый мир.

С ее смертью мир изменился. Дом стал неуютным, сад – голым. Цветы утратили краски и аромат. Они лишились ее материнской заботы, и обнаружилось это не постепенно, а сразу же. Пчелы над ними больше не летали, бабочки не порхали. Цветы чувствуют не меньше, чем животные, но тоньше, и на ласку человека отвечают симпатией.

Я искал укромные уголки в доме, в саду. Часто подолгу сидел на лестнице, ведущей на темный чердак. Плакать не мог, невидимая петля туго сдавливала мне горло.

* * *

Боль потери сравнима с тяжелой болезнью; если мы одолеваем болезнь, она более нас не тревожит. Мы получаем прививку от укуса этой змеи. Рубцы не чувствуют ее жало. Остается бесчувственность. Одновременно уходит и страх. Я стал настолько же острее воспринимать окружающий мир, насколько уменьшилось мое в нем участие. Мог оценить его опасности и преимущества. Позднее это пошло на пользу историку. Тогда, в детстве, когда я сидел впотьмах, не видя выхода, в душе моей сформировалось убеждение в несовершенстве и суетности мира, и с тех пор оно не покидает меня. Я остался чужаком в отчем доме.

Боль не отпускала меня целый год, а может, и дольше. Потом она начала остывать, как остывает вулканическая лава, образуя прочную корку, по которой можно ходить без опаски. Так происходило рубцевание, я понял правила игры общества, окружавшего меня. Стал лучше учиться, учителя обратили на меня внимание. Потом были уроки фортепьяно.

Родитель смотрел на меня с растущей благосклонностью. Я мог бы вступить с ним в более доверительные отношения, но мне было неприятно, когда он клал руку мне на плечо или в своей фамильярности переступал границы необходимого.

Что ни говори, я был плодом любви, в отличие от брата, духовно более близкого отцу и считавшего себя законным сыном, а меня вроде как бастардом. Я признаю, что его суждение покоилось не только на ревности, но родители так ускорили развод, что я родился законным сыном. К тому же в Эвмесвиле не принято тщательно подсчитывать сроки.

* * *

Мать была для меня целым миром; личностью она становилась постепенно. Позднее, уже в зрелые годы, когда родитель был на каком-то конгрессе, я воспользовался возможностью ближе познакомиться со своей предысторией. Историк немислим без склонности рыться в архивах, и он сохраняет то, что иные люди по окончании событий обычно уничтожают. За смертью хозяина огненной жертве предадут его архивы; так происходит почти всегда.

И моему родителю, наверное, стоило бы сжечь письма, которыми он обменивался с матерью в самые напряженные три месяца. Видимо, он не мог с ними расстаться и сохранил на чердаке. Там я извлек их из необозримого моря бумаг и в сумерках углубился в изучение первых месяцев моего земного бытия.

Так, я узнал момент, когда оно началось, и место – картографический зал исторического института. Этот зал мне знаком: посетители заходят туда редко; и карты – прекрасное укрытие для мимолетных любовных приключений. Тем не менее такой приткой горячности я в своем родителе никак не предполагал.

Должно быть, есть женщины, которые мгновенно видят и чувствуют, что вспыхнула искра. Вряд ли это объяснимо физиологически, но моя мать принадлежала именно к такому сорту женщин. Намеками, но очень недвусмысленно, она писала, что я появился, или, по меньшей мере, стал замечен. Родитель, вроде как не понимая, пытался отговорить ее, твердил, что

она ошибается, – чисто теоретически, еще на третьей неделе, когда я уже принял форму тутовой ягоды и начал понемногу дифференцироваться. Я был покуда не больше рисового зернышка, но уже различал право и лево, и сердце двигалось у меня внутри, как скачущий кончик иглы.

Когда не думать обо мне было уже нельзя, он взялся за меня практически. Не стану вдаваться в подробности. Но так или иначе, плавая в околоплодных водах, я, точно Синдбад-мореход, подвергался множеству опасностей. Родитель искал способ избавиться от меня с помощью ядов и колющего оружия, даже нашел пособника на медицинском факультете. Однако мать твердо держала мою сторону; она хотела моего рождения, к счастью для меня.

По версии моего брата я был для нее средством заполучить старика – что ж, вполне возможно, но это лишь практичная сторона ее стихийного чувства. Как мать, она хотела сохранить меня как личность, она имела право на благополучие.

* * *

Вообще судить о таких их взаимоотношениях следует комплексно, неоднозначно. Что я и делаю, благодаря не только Вигу, но еще и Бруно, моему наставнику в философии.

Я помню его лекцию, когда он в мифологическом аспекте излагал концепцию времени и пространства. По его мысли, отец выступает в роли времени, а мать – в роли пространства; в космологическом смысле он – небо, а она – звезды; в теллурическом – он вода, а она – земля; он творит и уничтожает, она принимает и сохраняет. Времени присуще неутолимое беспокойство, каждый следующий миг упраздняет предыдущий. Древние представляли время в образе Кроноса, пожирающего своих детей.

Как титан – отец пожирает свое порождение, как бог – приносит его в жертву. Как царь – растрчивает его в войнах, которые сам же и затевает. Биос и миф, история и теология дают тому множество примеров. Мертвые возвращаются не к отцу, а к матери.

* * *

Кроме того, Бруно останавливался на различиях между трупосожжением и погребением. Не знаю, верно ли я его цитировал. Мне все же кажется, что вода скорее присуща матери; христиане отождествляют воду с духом. Именно вопросы соподчинения становились поводом к длительным войнам. Кирилл¹⁶ считает воду важнейшим из четырех элементов и самым изменчивым веществом. Результаты космических полетов как будто подтверждают это *ex negativo*¹⁷.

Знакомым с мифом известно, что огромность моря есть лишь его обманчивая поверхность. В Эвмесвиле, где уже много поколений мыслят сугубо количественно, это едва ли поймут. В записках одного русского странника я читал, что глоток воды, поднесенный жаждущему в горсти, больше семи морей. То же можно сказать и об околоплодных водах. Во многих языках слова «мать» и «море» созвучны.

¹⁶ Кирилл Александрийский (444 г.) – патриарх Александрии с 419 г., один из Отцов Церкви.

¹⁷ От противного (лат.).

9

Так или иначе должен признать, что, преследуя меня, мой родитель вел себя совершенно естественно. Как анарх я не могу не признать, что он отстаивал свои права. Ведь все отношения основаны на взаимности.

Здесь полным-полно сыновей, которые точно так же спаслись от отцов. По большей части это остается неведомым. Эдиповы отношения редуцированы до недовольства индивидов друг другом. Утрата уважения неизбежна, но люди как-то уживаются.

Меня меньше коробит собственная предыстория, то, что по причине своего отцовства старик требует уважения. Требует чести, которой ему не полагается, упирает на тот факт, что некогда жили отцы, государи, профессора, заслужившие так называться. Ныне все это не более чем пустая молва.

Когда он начинает чваниться, меня порой так и подмывает напомнить ему о картографическом зале и о хитростях, с какими он подступал к матери. Она прятала меня от него в своем чреве, как Рея прятала Зевса от пожирающего детей Сатурна.

Разумеется, я не делаю такого хода; я и здесь осознаю свой недуг – несовершенство. Некоторые истины надо умалчивать, если мы хотим и дальше сосуществовать; мы кое-как продолжаем игру, но доску не переворачиваем.

Сдержанностью я опять-таки обязан Бруно, который распространяет свой курс на магическое и даже на практическое поведение. Он говорил: «Если с ваших уст готово слететь слово, поднесите руку к левой стороне груди, словно хватаетесь за бумажник. Тогда вы сбережете колкую остроту; она добавится к вашему капиталу. Вы ощутите свое сердце».

Вот так и я веду себя с моим дражайшим папашкой. Иной раз я даже испытываю благодушие. И советую Вигу поступать так же, когда ему хочется отплатить на злобную критику той же монетой.

* * *

Мне не хватает отца именно потому, что я не признаю одного в моем родителе, но это отдельная тема. Я ищу отца, к которому могу испытывать уважение. Такое возможно и в Эвмесвиле, хотя и в порядке исключения. Мы ищем духовных отцов. С ними нас связывают узы более прочные, нежели кровные.

Подобные высказывания следует, конечно, воспринимать с осторожностью, ибо в них всегда присутствует и нечто материальное. Ведь благодаря отцу мы вплетены в бесконечную вязь. Актом зачатия он совершает неведомую ему самому мистерию, в которой может погибнуть его самость. Так что возможно, мы больше сродни дяде или отдаленному предку, чем отцу. Специалистам по генеалогии да и биологам хорошо знакомы такие сюрпризы, часто взрывающие их системы. Объем наследственности необозрим; ее царство простирается до неживого мира. Из нее могут вынырнуть давно вымершие существа.

* * *

Думаю, этот экскурс показывает, почему я предпочитаю усыновление естественному родству. Отцовство становится духовным; мы – родственники не по крови, но по выбору. Стало быть, Эрос должен властвовать и в духовном родстве, наставник есть крестный отец на более

высоком уровне. Мы выбираем крестного отца, *pater spiritualis*¹⁸; он заново познает себя в нас – принимает нас. Вот этому соприкосновению мы обязаны жизнью, жизнью, дерзну сказать, вечной. Не стану пускаться в душевные откровения, здесь им не место.

Думаю, рождение и окружение, в котором я оказался, проясняют, почему я испытываю чувство такого родства к трем моим академическим учителям, трем профессорам. Будь я призван к ремеслу, искусству, религии, военному делу, у меня были бы другие образцы, и опять же совсем другие, если б я выбрал путь преступлений.

Я вижу, как тяжело трудится на ловле тунца раис¹⁹ со своими рыбаками; их подчинение ему – как бы панцирь доверия, связывающего их с ним; он – глава, они выбрали его. Здесь чувствуется больше отцовства, даже когда он с ними суров, он больше отец, чем мой старик, плавающий в застойных водах, когда мы сидим за одним столом.

* * *

От философа ждут системы; у Бруно искать ее бесполезно, хотя он свободно ориентируется в истории философской мысли. Его курс о развитии скепсиса со времен Гераклита занимает целый год; он скрупулезен, на чем и зиждется его мастерство. Этот курс охватывает практическую часть его учения, в известной мере ремесленную. Прослушавший его, не зря потратил деньги на обучение; он будет доволен. Одаренные ученики, уже ставшие учителями, прекрасно пользуются результатом. Тот, кто учит нас думать, делает нас повелителями людей и фактов.

Им не стоит беспокоиться, что здесь скрывается нечто большее; это лишь собьет их с толку. Кстати, все, о чем он умалчивает, оказывает воздействие и на них, пронизывая рационализм его лекций. Молчание укрепляет авторитет сильнее, чем слова; это касается как монарха, который может быть и неграмотным, так и учителя высокого духовного ранга.

Хотя мне посчастливилось близко узнать Бруно, в наших разговорах оставалось много невысказанного, даже в те вечера, когда успевали осушить не один бокал. Он любит вино, которое не покоряет его, но делает ярче горящий в его душе огонь.

Бруно коренаст, широкоплеч; лицо полное, чуть красноватое. Глаза у него слегка нависают, что придает им необычный блеск. Когда он говорит, лицо становится смелым, дерзковатым и краснеет еще больше. Улыбка сопровождает иронические замечания почти незаметно, но при этом дружелюбна, словно комплимент. Сама же сентенция – как дегустация изысканного вина – предназначена только для знатоков. Часто, когда я сидел напротив, он делал рукой легкий свободный жест, словно приподнимал завесу перед тихим ангелом, открывая путь в царство бессловесного. Согласие приходило на смену пониманию.

* * *

Бруно тоже считает положение в Эвмесвиле благоприятным – исторический материал исчерпан. Никто уже не воспринимает всерьез ничего, кроме грубых удовольствий и требований повседневной жизни. Тело общества напоминает путника, который, устав от скитаний, просто предается покою. Теперь главное – образы.

Эти мысли имели практическое значение для моей службы. Виго посоветовал мне как историку: я должен вникнуть в исторические модели, которые, не задевая и тем паче не вооду-

¹⁸ Духовного отца (*лат.*).

¹⁹ Раис – в арабских странах: начальник.

шевя меня, регулярно повторяются. Так изучают чеканку монет, давно вышедших из употребления. На рынке они уже ничего не стоят, но по-прежнему завораживают любителя.

Бруно добавлял сюда следующее: предчувствие, что на стене, с которой уже сыплется штукатурка, проступят давно забытые, но дремлющие в тебе идола, – сграффито мощи пред- и праистории. Тогда науке придет конец.

* * *

Внимание, с каким я стою за стойкой, нацелено в трех временных направлениях. Во-первых, на удовлетворение желаний Кондора и его гостей – это настоящее время, сейчас. Далее, я внимательно слежу за их разговорами, за возникновением их желаний, за переплетениями их политических оценок. Для них все это, пожалуй, актуально; для меня, в духе Виго, – модель, которую именно малые государства демонстрируют яснее, чем великие империи. Макиавелли было достаточно одной Флоренции. Я убежден, что Домо очень внимательно штудировал флорентийца; иные его фразы будто взяты из «Государя».

После полуночи, когда они уже в подпитии, я удваиваю бдительность. Сыплется слова, фразы, явно о лесе; я складываю осколки в мозаику. Воспоминания Аттилы образуют крупные куски и фрагменты; он долго жил в лесу и не скупится на рассказы из той своей жизни. Правда, их трудно согласовать с временем и с реальностью; они требуют скорее чутья мифолога, нежели знаний историка. Лесной отшельник живет словно в горячечном бреду.

Я слежу за разговорами, как охотничий пес за дичью, вникая не только в слова, но и в мимику, в жесты и даже в молчание. Что там зашевелилось в чаще – это ветер или на поляну выскочит неведомый зверь? Желание запечатлеть миг на письме набирает силу; таков инстинкт, живущий в каждом историке, и я знаю, как быть.

В мои служебные обязанности входит ведение регистрационного журнала; надо непременно записывать, какие напитки и продукты с камбуза проходят через бар. И речь здесь не столько о счетах, сколько о безопасности.

Значит, никто не обратит внимания, если я возьму в руки карандаш и произведу подсчет. Правда, журнал надо показывать Домо. Его интересуют, в частности, вкусы и привычки каждого гостя. Однако практически невозможно, чтобы он заметил спрятанную в тексте тайнопись. Я придумал систему точек и незаметно выделяю нажимом определенные буквы. Для меня речь идет не столько о том, чтобы зафиксировать внешние впечатления, сколько о том, чтобы выделить главное. И тут я опять возвращаюсь к важности молчания. Мне необходимо контролировать и обстановку, и в те минуты, когда чувствую, что в воздухе повисает нечто неприятное, я позволяю себе известные вольности, еще больше усиливая напряжение.

В конечном счете я так наметал глаз, что мне теперь достаточно только почерк; я смотрю на почерк как в зеркало времени. Одну деталь в этой связи я бы опустил, если бы она не объясняла методику Бруно.

Что почерк может поведать обо всем, от домашнего хозяйства до высочайших подвигов духа, известно каждому, но графолог знает, что сведущему человеку почерк открывает и характер пишущего. Бруно пошел еще дальше: для него почерк – зеркало, которое ловит миг и вновь высвобождает, если внимательно в него всмотреться. Почему люди в странствиях несли с собой синайские скрижали? Ведь все и так знали текст наизусть. И все же скрижали сообщали нечто большее, чем просто заповеди: они символизировали власть. Поэтому первосвященник тайне рассматривал их перед жертвоприношением – а может, и прикасался к ним.

Бруно – я говорю так ради соблюдения пропорции – пошел в этом направлении дальше. При чем зеркало играло важную роль: «Прообраз есть образ и его зеркальное отражение». Мне кажется, он ждал чего-то необычного от моих ночных изысканий и полагал, что я обладаю необходимым чутьем. Что же до записи, то здесь я обязан Бруно использованием люминес-

центного маркера с целой обоймой стержней. Когда беседа становится жаркой и лес все ближе, я нажимом пальца включаю подходящий стержень, словно снимаю оружие с предохранителя. Причем особых записей не требуется, я просто продолжаю список выпитых напитков.

Может, виновато воображение – но что такое воображение? – только вот при взгляде на колонки записей разговоры всплывают в памяти ярче, чем в тот миг, когда я их слышал. Передо мной словно бы раскрывается их подоплека. Слово перестает быть просто сообщением, обретает силу заклинания. В воспоминании я вижу лица, застывшие, как в момент жертвоприношения. Пугающее зрелище.

Каким волшебством достигается такое действие? Напрашивается предположение, что в стержень маркера впрыснута одна из тех субстанций, которые уносят человека за пределы чувственного восприятия. Они действуют уже в ничтожных количествах, невесомые, как разносимая ветром цветочная пыльца.

Бруно обычно экспериментирует с ними, но без учеников. Однажды, нанеся ему неожиданный визит, я застал его сидящим с совершенно отсутствующим видом. За стеклянной маской я увидел лицо, вид которого был для меня невыносим. Кстати, сам он явно не помнит этого визита.

Так или иначе, магом я его не считаю, хотя его жизненный путь включает в себя весьма опасную магическую ступень. Она должна служить лишь инструментом приближения, как курс логики служит введением к изучению философии. Однако же возникает проблема перехода: от магического знания надо отказаться, ибо оно обманет, когда начнется космическая охота. По этой причине еще в недавние времена боги обращались к помощи людей. Полагаю, что Бруно все же выбрал для себя подземное царство.

* * *

Некоторые фирмы Эвмесвиля на Новый год предлагают клиентам скромные рекламные подарки, преимущественно авторучки. Тем самым они закрепляют себя и свои изделия в памяти клиентов. Допускаю, что Бруно получил маркер как такой вот подарок во время одного из визитов в катакомбы.

Всего лишь игрушка. Вероятно, она должна намекать на достигнутый там уровень техники и внушать если не страх, то уважение. И уместно ли здесь слово «техника»? Наверное, «метатехника» подошло бы лучше. Под этим надо понимать не совершенствование средств, а переход в иное качество. Когда бегун достигает наивысшей скорости, его бег превращается в полет. Означенный маркер стал образцом; словесного сообщения было уже недостаточно.

Однажды наступило пресыщение чистой динамикой, и дело дошло до измельчания техники в больших регионах. Тому соответствует, с другой стороны, ее плутоническая концентрация, осуществляемая немногочисленным, ставшим самовластным персоналом.

10

Я смотрю на них как на своих духовных отцов: Виго я обязан беспристрастным взглядом на историю, возможным только тогда, когда мы перестаем быть за или против. Какое наслаждение для историка – он участвует в распрях, как Зевс в битве богов с людьми. Из-под лака, каким их замутило просвещение, проступают образы во всем своем первозданном сиянии.

Бруно побудил меня задуматься об основаниях, не принадлежащих ни истории, ни природному миру, более того, не зависящих от присутствия человека во Вселенной.

Как получается, что я не могу четко разделить этих двоих, так не похожих друг на друга людей? Вероятно, потому что они каким-то образом встречаются и сливаются воедино – например, во мне. Так встречаются и сливаются все научные дисциплины, к примеру дисциплины биологов и физиков, – там, где на уровне атомов упраздняются различия между ними. Я не случайно выбираю такое сравнение, Виго родствен богам, Бруно – титанам; один обращен к лесу, другой – к подземному царству.

* * *

Виго смотрит в мир, как в иллюстрированную книгу. Под его взглядом изображенные предметы заряжаются духом и оживают. Однажды вечером, когда мы сидели в его саду на окраине города, он указал рукой на араукарию:

«Мартин, вы видите что-нибудь особенное в этом дереве?»

То был превосходный экземпляр араукарии, чей силуэт придает нашим берегам нотку суровости, но в самом дереве я не заметил ничего необычного. Виго объяснил:

«Семь лет назад у нее обломилась верхушка. Может быть, на ней хотела отдохнуть какая-нибудь птица, или гусеницы уничтожили почки. Красота была испорчена – я даже едва не спилил дерево. И хорошо, что не спешил, вы же видите, что произошло? Одна из боковых ветвей направила свой рост вверх и образовала новую верхушку, разительно похожую на штык. Через несколько лет не осталось и следов того повреждения. Что скажете на сей счет?»

«Я бы назвал это воссозданием явления по идеальному образцу».

«Вижу, вы хорошо усвоили мои уроки. Надо учесть, что этот поворот на девяносто градусов не только исправил морфологическое повреждение; изменились и тончайшие анатомические структуры – вплоть до образования рубца, который лесничий называет раневой древесиной».

Можно посмотреть на это и с точки зрения генеалогии. Когда из мутовки поднимается вверх новая ветвь, то к первенству и господству поднимается новая линия. В лесах мы видим стихийные, а в садах социальные прототипы человеческих сообществ».

Потом он вернулся к моему ответу.

«Что же здесь обнаруживается? Не что иное, как внутренний врач Парацельса; он обновляет и воссоздает существо даже после обезглавливания. Я хочу сказать, что один только вид его уже является целителем».

Я могу долго слушать Виго и долго с ним молчать. Над касбой поднялась луна; дерево четко выделялось на фоне светлого ночного неба. Словно нотные линейки с точками нот виднелись тонкие ветви, усеянные круглыми шишками.

* * *

Виго хочет подняться над историей, а Бруно – над знанием; первый – над волей, второй – над представлением. Ученая гильдия считает первое ретроградством, второе – утопией; то и другое всерьез не принимают. Мне любы оба, хотя и именно потому, что я часто слышал, как мой родитель и брат потешались над ними за столом.

«Неизведанные моря простираются за Геркулесовыми столпами. Стражи их – Геродот и Гераклит».

Им не нравились подобные сентенции, которые я приносил домой с семинаров Виго. Для них это не самые трезвые суждения. Притом мне чужд идеализм, хоть я и приносил жертвы на его алтарь. Мне недостаточно, как им, оценивать и трактовать факты по их весомости, а не по присущему им эросу. В нем сгущается материя; в нем возбуждается мир. Вот чем прельстили меня мои учителя. Они сделали то, чего не сумел мой родитель, его любви и знания оказалось для меня недостаточно.

* * *

Хоть я и анарх, я тем не менее не противник авторитаризма. Напротив, мне необходимы авторитеты, пусть даже я не склонен слепо им верить. Дело в том, что необходимая мне, но не явленная достоверность лишь обостряет мою критику. Как историк, я знаю, чего можно требовать.

Почему умы, уже ничего не признающие, так упорно настаивают на своих притязаниях? Они кормятся тем, что когда-то жили боги, отцы, поэты. Суть этих слов давно выродилась в пустые наименования.

В животном мире есть паразиты, исподволь выедающие личинок. В конце концов из куколки вылупляется не бабочка, а оса. Так и эти люди обходятся с наследием, в особенности с языком, – как фальшивомонетчики. Потому-то – пусть даже за барной стойкой – я предпочитаю касбу.

* * *

«В университетах всегда существовали кружки учителей и учеников, которые сообща и не без удовольствия наблюдали ход вещей. Содержание меняется, настроение остается тем же – как у сектантов внутри культа, здесь всегда присутствует заблуждение».

Так считает Виго. Но вот что думает Бруно: «Это относится ко всем духовным усилиям, предпринимаемым в мире. Не стоит ожидать здесь слишком много, ибо куда все, в конце концов, ведет? Люди убеждают друг друга в несовершенстве мира. А тогда подают сигнал бедствия и зажигают свет надежды. Неважно, Геракл ли чистит Авгиевы конюшни или почтальон – свою голубятню. Расстояние до звезд не уменьшится, сколь бы высок ни был твой пьедестал».

Сходное слышишь, когда задувает ветер из пустыни. Бывают, однако, и эйфорические настроения.

11

«Всегда найдутся те, кто говорит лучше других».

Аудитория ответила одобрителем «угу».

«Есть и такие, что действительно говорят хорошо».

Волнение среди слушателей усиливается. Они не слишком охотно пришли на это занятие, которое измыслил для них Домо, – на обязательную лекцию грамматика Тоферна.

Как многие другие распоряжения Домо, я и на сей раз мог наблюдать все с самого начала; такое познание составляет удовольствие моей профессии. Я любопытен от природы, а историку без любопытства никак нельзя. Надо быть историком от рождения, иначе история будет невероятно скучна.

Сен-Симон²⁰ бывал при дворе не как придворный, а как прирожденный историк. Принадлежность к знати просто облегчала ему задачу. Это всего лишь роли – будь он камердинером, и от него не ускользнули бы и мелкие рыбешки. Куда важнее «парадных выходов» было его знакомство с закулисем – ведь известно, что он поддерживал дружеские отношения и с поваром, и с маршалом. Вельможа не только был свидетелем ужасной сцены в Марли, когда монарх потерял самообладание, узнав, что его любимый бастард трусил в сражении. Знал он и о разговоре с банщиком, предшествовавшем той сцене.

* * *

Это не отступление от темы. Я сейчас говорю о своем побочном занятии, о должности ночного стюарда Эвмесвиля. Как таковой, я мысленно участвовал в разговоре Кондора с Домо; речь шла о приговоре по одному гражданскому делу. Домо извлек документ из ящика бюро и прочитал вслух:

«Вы удовлетворены решением».

«Здесь должен стоять вопросительный знак».

Домо перечитал фразу и покачал головой:

«Нет, здесь должен стоять восклицательный знак – этот тип испортил повелительное наклонение».

Он присмотрелся к подписи:

«И ведь не простой писарь, а стажер!»

В отличие от Кондора Домо происходит не из солдат удачи, а из старинного семейства. Что такие фамилии умудряются пережить целую череду переворотов, граничит с чудом, а объясняется способностями, развившимися в ходе поколений и ставшими поистине инстинктом, – прежде всего дипломатическим талантом. Дипломатическая служба предоставляет определенные шансы на выживание; но я не хочу входить в подробности. Как бы то ни было: если ко всей этой камарилье, которой я служу, вообще приложимы исторические мерки, больше всего к Домо. Правда, он скорее предпочитает скрывать свои исторические корни, нежели выставить их напоказ.

Точно так же его отношение к власти можно считать «примитивным» и «запоздалым». К первому мнению склоняется мой родитель, ко второму – мой учитель Виго. Виго видит лучше и потому знает, что одно не исключает другого. Он рисует следующую картину.

²⁰ Сен-Симон *Луи де Рувруа*, герцог (1675–1755) – французский военачальник, дипломат, автор знаменитых мемуаров о событиях при версальском дворе времен Людовика XIV и Регентства; не путать с утопистом Анри Сен-Симоном (1760–1825).

На его взгляд, примитивная первобытность есть стержень индивида и его сообществ. Примитивность – первооснова, фундамент, на котором зиждется история, и, когда история истощается, эта основа выступает на поверхность. Перегной с его растительностью тонким слоем покрывает скалу и неизбежно вновь исчезает, неважно, по какой причине – высыхает ли он или смывается дождями. На поверхности опять оказывается голый камень; в него вкраплены доисторические включения. Например: государь становится племенным вождем, врач – знахарем, избрание – аккламацией.

Отсюда можно заключить, что Кондор стоит у истока, а Домо – у конца процесса. Там преобладает стихийное, здесь – разумное. В истории мы видим образцы – например, в отношениях короля и канцлера или командира и начальника штаба, – словом, повсюду, где задачи и дела распределяются меж характером и интеллектом или меж бытием и достижением.

Мой родитель, пользуясь образом Виго, представляется мне человеком, получающим наслаждение от высохших букетов, от цветов из гербария Руссо. Могу даже дать этому академическую интерпретацию. Самообман старика на трибуне становится обманом народа.

К распрям Домо с трибунами я, напротив, подходил метаисторически; меня занимают не острые актуальные вопросы, а модель. Из люминара мне хорошо знакомы подробности визита Руссо к Юму, как и недоразумения, побудившие Юма пригласить его к себе. Жизнь Жан-Жака ведет от разочарования к разочарованию и к одиночеству. Это до сих пор ощущается в его последователях. Можно предположить, что здесь затронута нечто глубоко человеческое. Великие мысли возникают в сердце, говорит один старый француз; можно добавить: и терпят поражение в мире.

* * *

Насмешки над заблуждениями предшественников я считаю проявлением дурного исторического вкуса; это неуважение к Эросу, что был их движущей силой. Мы не меньше подвержены влиянию духа времени; глупость наследуется, меняются только фасоны дурацких колпаков.

Я не стал бы злиться на моего родителя, если бы он просто заблуждался; от заблуждений никто не застрахован. Меня раздражает не заблуждение, но пошлость, пережевывание фраз, которые некогда как великие слова будоражили мир.

Заблуждения могут выбить политический мир из колеи; но к ним надо относиться как к болезням: в кризисе совершается многое и даже возможно исцеление – лихорадка испытывает сердца на прочность. Острая болезнь – водопад, несущий новую, целительную энергию; хроническая болезнь – истощение и болото. Так и в Эвмесвиле: мы истощаемся, задыхаясь от нехватки идей; во всем прочем позор оправдан.

Нехватка идей или, проще говоря, богов порождает необъяснимое раздражение, почти как туман, сквозь который не могут пробиться солнечные лучи. Мир становится бесцветным, слово теряет суть и значение, прежде всего там, где должно употребляться не только для чистого сообщения, а для чего-то более высокого.

* * *

Я интересуюсь политическими взглядами Домо, потому что они имеют значение для моих штудий. Выхода за эти пределы, например, из чувства симпатии, необходимо избегать, как и любого рода влияний и течений.

Это, однако, не мешает мне с удовольствием слушать, как он говорит, и возможностей тут сколько угодно. Если нет Желтого Хана или других важных гостей, в ночном баре царит

мир; иногда за ужином присутствуют только Кондор с Аттилой и Домо, ну и, естественно, дежурные миньоны.

Я сижу за стойкой на высоком табурете; впечатление такое, будто я стою там в форме и в полной боевой готовности. А к гостям присматриваюсь по долгу службы, ибо «читаю их желания по глазам». На сей случай в моем распоряжении всегда есть приятная улыбка. Я тренирую ее перед зеркалом, прежде чем отправляюсь на службу. О том, что я веду запись съеденного, я уже упоминал. Обслуживание стола, подача блюд входят в обязанности миньонов.

Мой табурет – охотничья вышка, откуда я наблюдаю за своей добычей. Когда я говорю, что с удовольствием слушаю речи Домо, я имею в виду некое отрицание – а именно, что в них отсутствуют высокие слова, которыми я пресытился с тех пор, как научился думать самостоятельно. Правда, должен признать, что на первых порах и на меня его манера речи действовала отрезвляюще, – столь сильна привычка к стилю, где фразы заменяют аргументы.

Отрезвляюще действует прежде всего экономность выражений: мало прилагательных, мало придаточных предложений, точек больше, чем запятых. Отсутствует украшательство; очевидно, что правильность весомее красоты, а необходимость весомее морали. Язык в гораздо меньшей степени тот, каким пользуются ораторы на собраниях, чтобы сначала создать настроение, а затем подвести к согласию; этот же язык обращен к окружению, где согласие существует с самого начала. По большей части, формулировки, убеждающие Кондора в том, чего он и так желает.

Стало быть, речь мужа, знающего, чего он хочет, и желающего подчинить своей воле других. *Dico* – «я говорю», *dicto* – «я говорю решительно, я предписываю». Все внимание одной букве – *t*.

Скоро я привык к его манере, как привыкают к старой школе, например в живописи. Мы видели берег реки с деревьями так, как воспринимали его в конце XIX столетия христианской эры: свет, движение листвы, игра общих переменчивых впечатлений; все это с мельчайшими переходами развивалось с эпохи Рубенса. В люминаре подробно разобрался в этом вопросе. Но перейдем в другой, флорентийский зал. Начало XVI века, после изгнания Медичи. Воздух суше и прозрачнее. Деревья неподвижны. Контуров их отчетливы и не размыты: вот кипарис, вот – пиния. Таковы же и лица, законы, политика.

* * *

Издавна из воинов выходят все, кто хвастает, что сумел вытащить телегу из грязи, где она безнадежно увязла. Положение тогда становилось опаснее, в том числе и для них. Наступал перелом, когда они формулировали идеи, делавшие их до полного подобия похожими на трибунов. В Эвмесвиле это уже не нужно. Впрочем, Домо воздерживается от цинизма, что можно считать его сильной стороной.

Известно, правда, что служивые увозят телегу ненамного дальше всех других. С древности, с Мария и Суллы, кажется, всегда происходило отторжение; в любом случае авансы доверия, доброй воли и просто жизнеспособности иссякают. Мировой дух любит чистые листы; исписанные, они опадают.

* * *

Пуще всего, как уже сказано, я опасаюсь симпатии, внутреннего участия. Анарху должно держаться от них подальше. И что я где-то служу, неизбежно; тут я веду себя как кондотьер, который временно предоставляет свои способности в распоряжение других, но в глубине души ничем себя не связывает. Вдобавок, например, здесь, в ночном баре, служба есть часть моих штудий, часть практическая.

Как историк я убежден в несовершенстве, даже в бесперспективности любых усилий. Допускаю, что здесь, видимо, играет свою роль пресыщение позднейшего времени. Каталог возможностей кажется исчерпанным. Великие идеи затерлись и потускнели от частого повторения; на них никто не польстится. В этом отношении я веду себя в своих рамках не иначе, чем все в Эвмесвиле. Здесь ради идеи на улицы не выходят; другое дело, если хлеб и вино подорожают на грош, а порой беспорядки могут возникнуть из-за автогонок.

* * *

Как историк я настроен скептически, как анарх – все время начеку. Это залог моего благополучия, даже моего юмора. Так я удерживаю в целости мою собственность, хотя и не только единственно для себя. Моя личная свобода – лишь побочное достижение. Я готов и к великому сражению, к вторжению абсолюта в современность. Готов к событию, где кончаются история и наука.

* * *

Когда я говорю, что речь Домо нравится мне больше речи моего родителя, я все же имею в виду: относительно. Речь Домо более конкретна, но – скажем, в сравнении с речами Аттилы – производит впечатление дерева без листвы. Видны разветвления, голые сучья, которые – не могу не добавить – направляют взор и мысли к корням. Ведь они – отражение ветвей. Есть глубина, откуда вырастает логика языка; я имею в виду не ту логику, какой учат здесь, в Эвмесвиле, но ту, что составляет основу Вселенной и, вращая во все ее разветвления, снова и снова выравнивает.

«Кто не умеет говорить, не должен и судить». Эту сентенцию я часто слышал от Домо. Поэтому меня ничуть не удивило, что ошибки в приговоре вызвали у него раздражение. Непосредственным результатом стала обязательная лекция Тоферна, на которую Домо своим приказом собрал юристов. Профессор Тоферн считается у нас лучшим грамматиком.

12

После того как своим вступлением о качественных различиях в употреблении языка Тоферн вызвал недовольство аудитории, он сделал отвлекающий маневр, чем сорвал аплодисменты и поднял настроение слушателей:

«Вчера вечером, когда сидел в «Синем яйце» и не думал ни о чем плохом...»

Следует отметить, что в Эвмесвиле нет недостатка в сомнительных кабаках. Они тут на все вкусы, даже самые извращенные. В этом проявляется либеральность Домо, в чем Кондор его всячески поддерживает. Принцип «каждому свое» толкуют здесь весьма широко.

Домо сказал: «Чем люди занимаются в постели или хоть в хлеву – их дело; мы не вмешиваемся. *Bien manger, bien boire, bien foutre*²¹ – если мы все это благословим, то избавим полицию и суды от массы хлопот. Ведь тогда, помимо отъявленных злодеев и сумасшедших, будем разбираться только с теми, кто хочет усовершенствовать мир, а они еще опаснее.

Наши люди в Эвмесвиле хотят хорошо жить не когда-нибудь в будущем, а сегодня, сейчас. Они хотят не слышать звон монет, а иметь их в кошельке. Предпочитают синицу в руках, а не журавля в небе. Ну а мы можем дать им еще и курицу в кастрюлю».

Как мой родитель опирается на идеи, так Домо опирается на факты. В этом разница между либерализмом и либеральностью. И тут я как историк должен заметить: все хорошо в свое время. Методика Домо вытекает из нашего поистине феллахского состояния. Великие идеи, которым были принесены в жертву миллионы людей, в наши дни вконец истерлись. Различия почти исчезли; обрезанные и необрезанные, желтые и негры, богатые и бедные уже не так серьезно воспринимают себя в этих качествах. На улицы они выходят, либо когда им остро не хватает денег, либо на карнавал. В общем и целом, здесь каждый может делать все, что заблагорассудится.

Кондор, хотя он и тиран, любит – конечно, под надежной охраной – ходить на рынок и в порт, где на равных общается с людьми и обращается к ним, например, вот так:

«Карим, старина, все еще на ногах? Надеюсь, пороку-то хватает?»

Эти слова обращены к раису, начальнику ловцов тунца, седобородому старику под восемьдесят. Тот отвечает:

«Кондор, ты имеешь в виду дни или ночи?»

* * *

«Синее яйцо» – это кабак, где собираются бродяги да преступники. Домо следит за событиями на дне общества глазами липиков, людей весьма рискованной профессии. Не проходит месяца, чтобы ночная стража не находила в окрестностях труп зарезанного.

Понятно, что упоминание Тоферном места, куда приличные люди не ходят, вызвало в зале веселое оживление. А что он там услышал, было и правда связано с недавним убийством. Преступники обсуждали это дело между собой. Поскольку же работают они преимущественно ночью, то по утрам, развлеченья ради, посещают судебные заседания, что для них занимательно и в то же время поучительно.

В «Синем яйце» они обсуждали повисшее в воздухе дело об убийстве. Жертвой был торговец опиумом; хотя эту торговлю терпят, но не обходится и без риска. Терпимость вообще считается у нас руководящим принципом; есть множество вещей, которые не разрешены, но и не особенно преследуются; они находятся в периферийной серой зоне легальности, что вполне соответствует сонному настроению нашего города.

²¹ Хорошо есть, хорошо пить, хорошо заниматься сексом (*фр.*).

В этом промежуточном царстве размыты и границы обязательств, что обеспечивает касбе, как и городскому дну, хорошие барыши. Случаются и неприятности – меньше от мака, больше от конопли, ведь первый оглушает, а вторая возбуждает. Обкуренный безумец носится по улицам с ножом; одна студентка сгорает в постели. Когда после таких случаев Домо вызывает к себе одного из крупных наркоторговцев, чтобы его усовестить, он обходится без долгих уговоров – собеседник тотчас готов к благотворительности; такие пожертвования не оставляют следов.

Но и преступный мир берет свою мзду. Шантажом вымогают деньги у торговцев и трактирщиков. А те регулярно платят, относя издержки за счет накладных расходов, такие выплаты тоже не оставляют следов.

В обсуждаемом деле наркоторговец решил попробовать свои силы на уровне, до которого не дорос. И дальнейшее не отличалось оригинальностью: после писем с угрозами ему подложили под дверь гранату, потом изрешетили пулями телохранителя и, наконец, пустили по его следу убийц. Настало время срочно покинуть Эвмесвиль; он еще успел попасть на корабль, уже стоявший под парусами в порту. Вероятно, хотел бежать к Желтому Хану, на защиту и покровительство которого очень рассчитывал.

С убийцами, однако, шутки плохи; когда они принимаются за дело и берут след, их прозаичное дело превращается в охотничью страсть. Как только наркоторговец ступил на трап, с грузового крана сорвался тяжеленный тук, пролетел на волосок от его головы и пробил трап. Торговец невредимым добрался до своей каюты – *camera di lusso*²² с ванной и салоном.

Когда же в каюту явился *facchino*²³ с багажом, он обнаружил пассажира бездыханным, лежащим перед зеркалом в ванной. Судовой врач, уже прибывший на судно, мог лишь констатировать смерть. Сердечный приступ – видимо, волнение было слишком велико, и сердце не выдержало, как у всадника на Боденском озере²⁴.

Моряки не любят трупы на борту. У команды еще было время от него избавиться. Составив свидетельство о смерти, врач вышел из каюты, а затем вернулся с носильщиками. Мертвец с обнаженным торсом лежал на койке. Именно в таком виде его оставил врач. Он мог бы под присягой заявить, что, когда уходил, в груди покойника еще не было стилета, воткнутого теперь по самую рукоятку в левую ее часть.

Удар был нанесен с профессиональной точностью, причем в тот короткий промежуток времени, пока врача не было в каюте. Не пролилось ни капли крови; клинок пронзил мертвое сердце. Это подтвердилось на вскрытии, на котором присутствовал и Аттила. Потому-то о деле мне уже было известно – из разговоров в ночном баре.

На борт прибыла полиция; произошла досадная задержка отплытия. Пассажиров и экипаж допросили, как и вообще всех, кто был на корабле. Особое внимание привлек носильщик, который, казалось, знал больше, чем говорил, хотя прямого отношения к убийству явно не имел.

Когда предстает давать свидетельские показания, люди ведут себя как храмовые обезьяны из Никко, закрывающие себе глаза, рот и уши. И для такого поведения есть свои причины. Но полицейским это не в новинку – они разматают самый запутанный клубок, была бы только зацепка, кончик нити.

Весьма скоро им удалось встряхнуть из носильщика, что он приметил какого-то «левака». Сознался носильщик относительно легко, ведь речь шла о *facchinaccio*. Так называют субъектов, которые, пользуясь толкотней перед отплытием, норовят пробраться на судно, чтобы раз-

²² Каюта люкс (*ит.*).

²³ Носильщик (*ит.*).

²⁴ Намек на балладу Г. Шваба (1792–1850) «Всадники и Боденское озеро».

житься чаевыми, а заодно, может, и что-нибудь под шумок стащить. Само собой, работают они без лицензии и для легальных носильщиков как бельмо на глазу.

Полиция действительно напала на горячий след: удар мертвецу нанес мнимый носильщик, сиречь подосланный убийца. Он тенью проскользнул в каюту, где в полумраке лежал мертвый наркоторговец в том положении, в каком его оставил врач, а затем за секунду выполнил свой заказ.

* * *

Такова, значит, была тема разговора, который подслушал или якобы подслушал Тоферн в «Синем яйце», – тут уж я в точности не знаю. Мне показалось, будто о таком хитросплетении я либо читал в каком-то романе, либо видел в детективной пьесе, которые составляют основную часть местных развлечений и тут же забываются. Охота на людей со всеми ее тонкостями относится к числу тем, что всегда остаются захватывающими и к тому же допускают бесконечные вариации. Время от времени я разыгрываю на люминаре короткие сцены из «Питаваля»²⁵ и других авторов. Что же до покушений на мертвецов, то я нашел нечто похожее у Дэя Кина, классика жанра. Сей рецепт относят к вариантам, которые постоянно повторяются, поскольку затрагивают кошмар, тяготящий нас со времен Каина. Во сне мы убеждены, что кого-то убили; пробуждение возвращает нам невинность.

Но почему профессор так подробно остановился на этом случае? В конце концов, он читал лекцию по филологии, а не по юриспруденции. Но оказалось, Тоферн с величайшим мастерством исполнил то, чего ожидал от него Домо.

* * *

«Господа, суду предстояло вынести решение по очень серьезному делу. Защита требовала оправдания и преуспела. Давайте последуем за нею, для чего займемся сейчас глаголом *колоть*».

Если мы примем, что удар наркоторговцу был нанесен при жизни и убил его, то перед нами, без сомнения, умышленное убийство. Окажись удар несмертельным, защита настаивала бы на причинении телесных повреждений. В данном случае не было ни того ни другого. Труп убить нельзя, как и нельзя причинить ему телесные повреждения в обычном смысле. В противном случае пришлось бы привлекать к ответственности и наказывать патологоанатома, производившего вскрытие.

Стало быть, защитнику подлежало доказать, что наркоторговец был не *заколот*, а только *проколот*, иными словами, имело место деяние, не влекущее за собой уголовно наказуемых последствий. Мнимый носильщик был не способен привести такой аргумент, так как он выше его лингвистического уровня; и говорил явно по подсказке адвоката.

Господа, на первый взгляд разница между двумя глагольными приставками кажется незначительной; здесь, однако, мы видим пример их большой значимости. Приставка *за-* ведет к корням языка; это ослабленное *из-*.

Приставка же *про-* расширяет значение, обобщает, как, например, обобщает «зрение» в *прозрение*. Впрочем, и она в употреблении сильно поизносилась и стала, пожалуй, чересчур плоской».

Тоферн улыбнулся: «Здесь можно еще очень много сказать. В *за-* еще сохраняется определенная суверенность. Например, расстояние до Луны может рассчитать каждый, кто хоть

²⁵ Собрание хроник и отчетов по уголовным процессам; названо по имени французского правоведа XVIII в.

что-то смыслит в тригонометрии. Он *промерил* – это намек на всеобщее достояние, которое он разделил со всеми. В слове же *замерить* есть намек на единственность».

Далее Тоферн остановился на другом обстоятельстве дела: «Мы могли бы допустить, что наркоторговец стал жертвой нападения некой банды и не пережил последнего удара. В таком случае имеет место не последовательность действий, а одно непрерывное действие.

Тут различие не столько в преступности деяния, сколько в его наказуемости. Судья должен уточнить временны́е признаки деяния. Коль скоро грамматических времен недостаточно, точности определения надо добиться описательными средствами».

Он привел соответствующие примеры.

* * *

Наверно, Тоферну хотелось сперва представиться аудитории лично, и, надо сказать, ему это вполне удалось. Начало указывало на то, что он задумал лекцию о префиксах, которую и прочел в стиле этимологической – в данном случае детективной – головоломки, сумев придать ей динамическое напряжение и сделав ее для меня, историка, даже захватывающей. Затем он встал на точку зрения псевдоносильщика и с помощью классических примеров разложил преступную волю по полочкам.

Например: если бы наркоторговец после удара стилетом находился в состоянии мнимой смерти, а преступник, чтобы избавиться от трупа, выбросил его в море и стал причиной смерти от утопления, то защитник столкнулся бы с более трудной задачей.

«Чтобы успешно решить оную, следовало бы выстроить ряд каузально, но не логически связанных между собой действий, которые, по мнению старых юристов, допускали *dolus generalis*²⁶. Сегодня поступают проще – хорошо ли, плохо ли: ведь стало труднее отличить действительное от возможного, а возможное от желаемого. Отсюда и утрата вербальных форм, каковые невозможно заменить психологическими спекуляциями. Когда мы дойдем до ирреального конъюнктива, я рассмотрю это подробно».

* * *

Такая мысль, разумеется, в числе прочих аспектов живо занимала и меня, ведь у нас в Эвмесвиле, где более ничто не кажется реальным, но все представляется возможным. Это сглаживает различия и благоприятствует полумраку, в котором ясный день и сновидение переходят друг в друга. Общество больше не воспринимает всерьез, что придает диктатурам новое звучание; недаром Виго так часто говорит о сходстве с «Тысячью и одной ночью».

Рыбак, носильщик, красильщик не только во сне воображают неслыханное, они властно выходят за его пределы. Между желанием и его исполнением нет больше преград. Это напоминает обладание волшебным кольцом; нашедший кольцо сапожник трет его, и из стены выступает демон:

«Я слуга кольца и его обладателя – господин, повелевай, воздвигнуть ли мне за ночь дворец, истребить народ или спалить город».

Так в сказке – однако народ и на самом деле уничтожается, а его дальневосточный город сжигается дотла. По распоряжению некоего торговца текстилем. Тщетно историки старались найти объяснение; содеянное взрывало все их меры и масштабы.

²⁶ Общий умысел (*лат.*).

Бруно прав, когда относит это скорее к магии, вырастающей до состояния *scienza nuova*²⁷ и подчиняющей себе науку. У техники есть свои мрачные подземелья. Она пугает и устрашает сама себя. Она близка к непосредственному воплощению мыслей, как бывает в сновидениях. Не хватает только одного шажка – словно из зеркала, из сновидения. Эвмесвиль весьма тому благоприятствует.

Теперь незачем открывать дверь, она должна распахнуться сама. Любого желанного места должно достичь в мгновение ока. Любой нужный мир извлекается из эфира или, как в люминаре, из катакомб.

Такова комфортная сторона. Тоферн выводит слово «комфорт» из *conferto* — «я укрепляю». Комфорт, однако, может стать слишком велик.

* * *

После того введения в курс для юристов я стал регулярно посещать лекции Тоферна и его семинар. Встречал я там немногих и почти всегда одних и тех же слушателей; грамматика – мертвая наука. Поэтому в рамках мертвых языков ею занимаются серьезнее, чем в рамках современных.

Домо, правда, хотел, чтобы юристы – дабы грамотно формулировать решения – овладели языком как логическим средством; эстетические или тем паче музыкальные побуждения ему чужды, если отвлечься от музыки.

В частных делах тирания должна полагаться на добросовестное судопроизводство, что, с другой стороны, укрепляет ее политический авторитет. Он зиждется на равенстве, в жертву которому приносят свободу. Такой авторитет стремится к уравниловке и в этом родствен власти народа. И тот, и другая имеют сходные внешние формы. Обоим неприятны элиты, хранящие свой особый язык, по которому их распознают; а поэты даже ненавистны.

Сохранению Тоферн как грамматик придает особую важность, и тут я, историк, с ним согласен. Стезя историка трагична – в конечном счете он имеет дело со смертью и вечностью. Отсюда его копанье в прахе, кружение подле могил, неукротимая жажда источников, боязливое вслушивание в сердцебиение времени.

Я часто спрашивал себя: что же таится под этим беспокойством? Как понятен мне страх дикаря, который, видя, как заходит солнце, боится, что оно никогда больше не взойдет снова. На возрождение надеялся тот, кто сохранял в скалах мумию, и мы срываем с нее покров, чтобы подтвердить его – нет, нашу – надежду. Когда мы оживляем прошлое, нам удастся акт, преодолевающий время и пожирающий смерть. Если он действительно удастся, значит, возможно, что Бог вдохнет в нас жизнь.

²⁷ Новая наука (*ит.*).

13

«Упадок языка скорее не болезнь, а симптом. Исыкает вода жизни. Слова еще обладают значением, но уже лишились смысла. Их все больше и больше замещают цифры. Язык уже не способен к стихосложению, не воспламеняет верой в молитве. Грубые удовольствия вытесняют духовную радость».

Так считает Тоферн. На семинаре он изъяснил это более подробно:

«Люди всегда, более или менее украдкой, получали удовольствие от аргю, от книг, продающихся из-под полы, или от пошлого чтива. В итоге все это начинают превозносить как высокопробные образцы. Доминирует третий тон».

Под третьим тоном он разумел самый нижний уровень наименования предметов и деятельности. Их можно называть в возвышенном стиле, в обиходном или низком; каждый стиль, или тон, хорош на своем месте.

«Если низкий стиль становится нормой в обиходном языке и даже в поэзии, он знаменует вторжение низости в область возвышенного. Коль скоро кому-то нравится жрать да еще и хвалиться этим, он освобождается и от подозрения, что усматривает в хлебе чудо, которое славят едой.

Профанация порождает низшие формы юмора. Голову можно возвышенно назвать главой, лицо – ликом, но оно может скорчить отвратительную рожу. Являясь в пандемониуме, она, вероятно, может развеселить. Боги тоже потешались над Приапом. Деревенскому простаку законное место в интермеццо. Когда же он целиком завладевает сценой, она превращается в кривое зеркало.

В комической опере я не раз наблюдал, как некоторые зрители уходили, когда в зале начинал греметь хохот. И тут не просто вопрос вкуса. Иные коллективные удовольствия и даже восторги возвещают о приближении опасности. Добрые духи покидают дом. В цирке, прежде чем начиналось кровавое действие, завешивали изображения богов».

* * *

Я имел возможность время от времени как историк помогать Тоферну в подготовке его тем. Так, занявшись упадком языка, он попросил у меня материал о роли эвменистов в этом процессе.

Дела это довольно давние, можно сказать, о них и думать забыли. Хотя в люминаре я обнаружил несметное количество книг, касающихся только нашей не слишком большой городской территории. Как при любой работе с аппаратом, главное – понимание сущностных вещей. Поток сил, движущих духом времени, хаотичен; необходимо ухватить и понять исторический смысл, скрытый за мнениями и событиями.

Упадок языка, о котором говорил профессор, пришелся на эпоху заката сражающихся наций, воздвигшую великие слияния. Сначала в мировом масштабе лишились власти и влияния местные божества; а что это коснулось Вседержителя-Отца, указывало на планетарный масштаб смятения.

Ослабление Отца угрожает небу и великим лесам; когда уходит Афродита, море становится мутным; когда Арес перестает предводительствовать войнами, они оборачиваются живо-дерней; меч становится топором мясника.

В конце эпохи, когда считалось похвальным содействовать гибели собственного народа, не приходилось удивляться, что и язык лишали корней, причем в первую очередь в Эвмесвиле. Утрата истории и упадок языка взаимообусловлены; эвменисты тут постарались. Они считали себя призванными, с одной стороны, содрать с языка живую листву, а с другой – придать авто-

ритет низкому жаргону. Так, под предлогом облегчения языка они отняли его у народа, а с ним и поэзию, выставив поверху свои рожи.

Атака на зрелый язык и совершенную грамматику, на письмо и знаки образует часть упрощенчества, вторгшегося в историю под видом культурной революции. Первое мировое государство бросило свою тень на будущее.

* * *

Ну, это уже позади. В этом отношении мы уже свободны от желаний и воли и можем судить непредвзято, если, конечно, способны судить. Я считаю, в Эвмесвиле такое под стать Виго, Бруно и Тоферну. Они трое при всех своих различиях способны вести разговор, не прибегая к расхожим банальным фразам. Ведь у нас сейчас повсюду возникает впечатление, что на вопрос отвечает не личность, а стая. Правда, есть и возвышенные платформы, как у моего папеньки, с другой же стороны, этикие донные камбалы, объединяющиеся в секты.

Всем троим свойственна непосредственная укорененность в мифе, который они, в отличие от психологов, не стерилизуют и не обмирщают. А потому способны проверить богов на их сущность. Отдаляясь от современности, они приближаются к основам, определяющим повторение событий.

По Виго, мировое государство есть перманентная утопия, изображать которую носителям истории более или менее удается.

«Как своего рода голод это заложено уже в естественной истории, скажем в образовании гигантских молекул. Конечно, таким молекулам в большей степени угрожает распад – возможно даже, они суть его предзнаменование. Чем больше расширяется государство, тем сильнее оно зависит от равенства; равенство же достигается ценой сущности».

Одновременно он рассматривает стремление к максимальному размеру и необходимо следующему за ним распаду как некую пульсацию:

«Уже медузы движутся за счет того, что попеременно расправляют и складывают свои зонтики. Так и в истории жажда достичь огромного размера сменяется стремлением к разделению. Старый Поджигатель давно знал, а мы постигли на собственном опыте, что мировое государство достигает своей кульминации и вдруг рассыпается в прах. Левиафану установлены не столько пространственные, сколько временные границы».

* * *

Я уже упоминал пристрастие Виго к временам упадка. Оно относится не так к декадансу, как к поздней зрелости высоких культур, наступающей после первых заморозков. Поэтому для него Афины и Фивы «более велики», нежели «мировая империя Александра», – он вообще любит города-государства:

«В них кристаллизуется ландшафт, тогда как империя истощает их и низводит до уровня провинции. Малая Азия до Александра и еще при сатрапах была сказочной страной. Геродот и даже Овидий дают нам представление о ней».

Впрочем, Александр по праву носит титул Великого:

«Вероятно, его величие выступало бы отчетливее, если бы ограничивалось человеческими качествами. В нем преобладала не столько историческая, сколько божественная власть. Именно поэтому он одним из последних вошел в мифологию».

«А Христос?»

«Здесь мифа уже нет».

В борьбе диадохов Виго тоже видел единственность, уникальность, характерную для Александра. Она являет собой образец судеб великих империй. Он высоко ценил Эвмена²⁸, грека на македонской службе, нашего с ним любимого диадоха. Эвмесвиль носит его имя; всякие другие ссылки на него суть проявление плебейского высокомерия.

«Когда распадается великая империя, как после смерти Александра, старые племена снова стремятся отделиться, ссылаясь на свою особость. Однако они утратили и ее, поскольку прошли через жернова империи, подобно зерну, прошедшему через жернова мельницы. Они сохраняют лишь свои имена, как греческие города при римском владычестве. Но Александрия расцветает.

Там культура сохраняется не в крови, а в голове. Начинается время ученых-универсалов, лексикографов, знатоков и собирателей. Растут в цене древности и произведения искусства. Отголоски заметны и в Эвмесвиле. Этот интерес напоминает интерес к миру животных, возникающий как раз тогда, когда начинается их вымирание. Так сияют крыши на закате».

* * *

Так считает Виго. Я цитирую его по памяти, в общих чертах. Как историк Виго видит цикличность движения мира, отсюда ограниченность и его скепсиса, и его оптимизма. Во все времена найдется местечко, где пригревает солнце, даже в Эвмесвиле.

Бруно, напротив, смотрит на мир глазами волшебника. Земля снова и снова являет взору свой тотем, тотем старой змеи, отбрасывая конечности или втягивая их в себя. Эта аллегория объясняет мировое государство, гибель культуры, вымирание животных, монокультуры, пустыни, частые землетрясения, извержения плутонической стихии, возвращение титанов – Атланта, титана единства, Антея, титана силы, и Прометея, титана хитрости матери.

С этим же связано падение богов. Они, свергнувшие отца с трона, вернулись, и алмазный серп, которым его оскопили, стал теперь разумом и наукой. Бруно указывал на inferнальный характер техники, на питающие ее землю и огонь, на плутонический блеск ее ландшафтов.

Змея вновь обрела могущество; то были родовые муки. В Эвмесвиле жили словно на острове, словно на обломках потерпевшего крушение судна – и долго ли еще так будет? Над богами уже и школяры потешаются. Почему бы и нет? У них скоро появятся новые куклы, ибо запас их поистине неисчерпаем. И зачем боги? Впереди ждут сюрпризы.

У Бруно есть доступ в катакомбы, и знание подлинных сил сближает его не столько с Виго, сколько с Аттилой, который бывал в лесах.

* * *

Бруно покинул поле истории решительнее, нежели Виго; вот почему, хотя мне и по нраву ретроспектива одного, перспектива другого нравится мне больше. Будучи анархом, я преисполнен решимости ни во что не вмешиваться, ничто не принимать всерьез – но не в нигилистическом стиле, а скорее на манер пограничного стража, оттачивающего зрение и слух, прогуливаясь по ничейной земле меж приливами и отливами.

Но и возвращение тоже не для меня. Оно – последняя лазейка консерватора, политически и религиозно утратившего всякую надежду. Для него тысяча лет – сушая мелочь; он делает ставку на космический круговорот. Однажды явится защитник-параклет, заколдованный император выйдет из горы.

²⁸ Видимо, имеется в виду Эвмен (Евмен) – полководец и секретарь Александра Великого, участвовавший в поджоге персидской столицы Персеполя.

Но здесь пока всегда есть развитие, всегда есть время. Временно́е возвращается, при-
нуждая даже богов батрачить на него, – оттого-то вечного возвращения быть не может; вечное
возвращение есть парадокс. Лучше сказать возвращение вечного; оно может случиться лишь
единожды – когда со временем будет покончено.

Так я откровенничал в саду Виго, когда над касбой стояла полная луна.

«Видишь, – сказал он, – вот мы и нашли больное место».

Это он сказал мне, чья кожа – одна сплошная рана.

Мысль о вечном возвращении – мысль рыбы, которая хочет выпрыгнуть из сковородки.
Упадет же она на раскаленную плиту.

Тоферн в первую очередь воспринимает потерю. Его страдание – страдание художе-
ственно одаренного человека во времена, лишённые всякой художественности. Ему известны
ценности и критерии; и тем сильнее разочарование, когда он прилагает их к современности. Я
предполагаю, что им двигало влечение к поэзии, но в поэтическом выражении ему отказано.
В безбожном пространстве он похож на рыбу, которая продолжает шевелить жабрами и после
того, как прибой вышвырнул ее на прибрежную скалу, однако то, что в водной стихии было ей
в радость, обернулось му́кой. Время рыб миновало.

Мне как историку очень хорошо знакома эта боль. В нашем цехе созданы прославлен-
ные сочинения, выросшие из нее. К боли примешивается настроение пустыни. В безвоздуш-
ном пространстве предметы выступают со сверхъестественной отчетливостью. Возбуждающее
средство, предвкушение смерти – вот в чем волшебство Медного города.

Тот, кто открывает склепы с благоговением, находит там больше, чем затхлую плесень,
даже намного больше, чем радости и горести канувших в Лету эпох. Поэтому историк страдает
меньше поэта, коему нет пользы от науки. Ему оставленные дворцы приюта не дают.

* * *

Я бы с радостью присовокупил и Тоферна к двум моим учителям, но очень скоро увидел,
что это невозможно. Его страх перед телесными прикосновениями превосходит все пределы.
Он избегает даже солнца; юристы прозвали его «бледнолицым».

Когда по служебной необходимости он вынужден принять кого-либо из слушателей, он
избегает рукопожатий и указывает посетителю на стул в самом дальнем углу. Руки его посто-
янно воспалены от частого мытья, поскольку каждый раз он немилосердно трет их щеткой.

Странно, что он вообще стал профессором. Историю он изучал как факультатив, и Виго
рассказывал, что проэкзаменовать его удалось только хитростью. Он зазвал Тоферна в машину
и вовлек в беседу, но, едва тот смекнул, куда все клонится, на ходу выпрыгнул и сильно пора-
нился. Однако же экзамен сдал.

Подобные страхи происходят от крайне обостренной чувствительности, у него словно
вообще нет кожи; но, с другой стороны, ранимость сделала его невероятно чутким к оттенкам.
Истинное удовольствие – присутствовать на его экзегезах, когда он вскрывает внутреннюю
суть стихотворения, бережно следует за ритмом, за живым поэтическим пульсом. Благозвучие
он не толкует, он цитирует, будто приглашая на кафедру самого поэта.

Его выступления – смесь дисциплинированности и пассионарности; речь прерывается
паузами, которые берут за душу сильнее слов. Юристы и те не могут отвлечься от его лекций.
Пальцами он скандирует каждый слог, рукой подчеркивает такт. По возможности запасается
рукописными оригиналами или проецирует их на экран. Я не раз видел, как он, держа перед
собой листок с текстом, декламирует стихотворение по памяти – так он обеспечивает в извест-
ном смысле присутствие поэта. Магический ход, невероятно восхитивший Бруно, когда я ему
рассказал.

Но языковое чутье скорее тяготит Тоферна, а не радует. Даже в мимолетном разговоре ему мешают огрехи, которых никто, кроме него, не замечает. Его подобные небрежности обижают.

Тем более удивительна уверенность его лекций – он говорит *ex cathedra*²⁹, призывая на помощь иронию, классическое оружие побежденного.

* * *

Пожалуй, довольно о моих учителях, которые мне ближе моего родителя, ведь я предпочитаю духовное родство кровному. Было бы, разумеется, прекрасно, если бы то и другое слилось в единстве: «слияние сердца и души» говаривали в старину; тогда «душа» еще была синонимом «духа». Но мне чужд и мой брат.

Я уже говорил, что ничуть не возражаю против авторитета, однако же не верю в него. Скорее мне его недостает, поскольку я имею представление о величии. А потому я держусь, хотя и здесь не без скепсиса, людей лучшего сорта.

Справедливости ради не стану скрывать, что весьма обязан также тем слоям, какие можно бы назвать перегноем воспитания. Обучению присущ эрос, уготованный простым умам. Их знание остается несовершенным, но дается и принимается как хлеб. Показать что-нибудь ребенку, например часы, и объяснить ему ход стрелок – для них это радость, словно они поднимают завесу или рисуют круг на чистом листе. Тут есть некое волшебство.

²⁹ Авторитетно (*лат.*).

Отграничение и уверенность

14

Дни в касбе проходят весьма однообразно. Я не вижу особой разницы между службой и досугом. Мне по душе то и другое. Таков мой принцип – у меня не должно быть пустого времени, ни одна минута не должна проходить без душевного напряжения и сосредоточенного внимания. Кому удастся жить играючи, тот отыщет мед хоть в крапиве, хоть в болиголове; даже неудобства и опасности доставят ему удовольствие.

Отчего возникает ощущение, будто ты все время в отпуске? Наверняка оттого, что духовное существо отчуждается от телесного и наблюдает его игру со стороны. Вдали от всякой иерархии оно наслаждается гармонией покоя и движения, неуязвимости и высочайшей чувствительности – порой даже своим авторством. Пишет текст на чистом листе и покоряет судьбу; мир изменяется письмом. Вот единство танца и мелодии.

* * *

С другой стороны, я все время на службе. Не только в смысле моего духовного участия во всем происходящем в касбе и окрестностях, но и в смысле предписанных банальностей повседневного бытия. В самом этом нет ничего особенного; к постоянной готовности обязывают многие профессии, в первую очередь связанные с опасностями.

Готовность рассчитана на то, что в любую минуту может что-то случиться – стало быть, это форма службы, по ходу которой не происходит ничего или почти ничего. Но случись что, работа найдется всем и каждому. Тут как с мерами предосторожности на случай пожара или кораблекрушения. Учебная тревога в начале путешествия нужна для того, чтобы каждый знал свою задачу и свою спасательную шлюпку. Чтобы нашел ее, даже толком не проснувшись, вскочив с койки по тревоге, когда грянет сирена.

В касбе, в каждом квартале, регулярно проводят учения на случай внутренних беспорядков. Эти учения, пожалуй, не более, чем вооруженная прогулка; в остальном я в такой день свободно распоряжаюсь своим временем, а довольно часто и ночью, ведь не всегда Кондор потом бывает в настроении идти еще и в бар. Да и посиделки там, если и происходят, не всегда затягиваются, нередко гости довольствуются турецким кофе, шампанским, дижестивом. Едва ли стоит подчеркивать, что мне на пользу именно те ночи, когда гости засиживаются и много пьют.

Иногда проходит целая неделя, прежде чем я занимаю свое место в баре. Сказочная жизнь, мечта бездельника – во всяком случае, для большинства, а для меня тем паче, поскольку доставляет мне духовное наслаждение.

* * *

«Черт попутал да накосячил». Так говорит мой братец, который вслед за родителем считает, что я занимаюсь делом, недостойным доцента. По его мнению, я прислуживаю тирану в его удовольствиях, а значит, поддерживаю его притеснения. «Этот тип стреляет в народ, причем без всякой необходимости. Старик Иосия переворачивается в гробу».

Милый братец забывает, что я уже несколько раз отводил от них с отцом неприятности, когда они отваживались высунуть нос из уютной норки лицемерия. И что такое «накосячил»

во времена, когда любое движение идет вкривь да вкось? Мы играем на крапленых досках. Когда бонзы Кондора – а в этом я ни минуты не сомневаюсь – в один прекрасный день его свергнут, весь Эвмесвиль будет праздновать “*liberazione*”³⁰, сиречь переход от явного насилия к анонимному. Солдаты и демагоги издавна сменяют друг друга на политической сцене.

Хотя я не устаю изучать все это в люминаре, мне кажется, что нашей науке так до сих пор и не удалось четко разграничить типы тиранов, деспотов и демагогов. Понятия перетекают друг в друга, и разделить их трудно, ведь все они глубоко укоренены в человеческой природе и весьма переменчивы от индивида к индивиду. На практике поэтому с восторгом приветствуют каждого, кто «захватывает власть».

Человек рождается на свет насильником, которого укрощает окружающий мир. Если же ему все-таки удастся сбросить путы, он может рассчитывать на аплодисменты, ведь каждый тотчас узнает в нем себя. Глубоко въевшиеся в плоть, погребенные в ней мечты становятся реальностью. Необузданность бросает свет волшебства даже на преступление, каковое отнюдь не случайно составляет главную часть эвмесвильских развлечений. Мне, анарху, не лишенному права на участие, но свободному от него, это понятно. Свобода имеет широчайший диапазон и больше граней, чем бриллиант.

* * *

Эту часть моих штудий я провел специально, чтобы полностью представить себе физический и моральный облик Кондора. В люминаре я просмотрел целую гамму таких типов, а также эпохи, когда их число увеличивалось: греческие и в особенности сицилийские города, малоазийские сатрапии, поздние римские и византийские империи, города-государства Возрождения, в том числе и, по заданию Виго, неоднократно изучал взятие Флоренции и Венеции, далее следовали очень короткие и кровавые бунты охлоса, ночи топоров и длинных ножей, и, наконец, длительные диктатуры пролетариата с их множественными подоплеками и оттенками.

Дни и ночи, проведенные в люминаре, ведут в лабиринт, где я боюсь заблудиться; ведь жизнь так коротка. Но сколь безмерно растягиваются времена и эпохи, когдаходишь в них через узкую калитку. Сущее колдовство, тут мне не нужны наркотики; да, пожалуй, не нужен и бокал, который я сейчас держу в руке.

Возьмем, например, «Хронику Перуджи» Франческо Матараццо³¹, историю города, одного из многих, в стране, одной из многих, – сюда же я добавляю и изображения этрусских ворот, хоров Пизано, Бальони, Пьетро Перуджино, двенадцатилетнего Рафаэля. Уже эта выборка открывает взору безбрежную даль – и так с любым источником, с любым пунктом предания, какого бы я ни коснулся. Сначала легкий треск, потом вспышка света – разряд исторического аккумулятора в его целостной, нерасчлененной силе. Друзья и враги, злодеи и жертвы внесли в этот свет все, что могли.

Подлинное, полностью исчерпанное время я провожу у люминара, будь то в касбе или внизу, в институте Виго. Такое настроение переносится затем на мою службу здесь, наверху, и на мои выходы в город, что не означает, будто я на манер эпигонов веду литературную регистрацию бытия; я даже вижу современность отчетливее, как человек, поднявший взгляд от коврика, на котором творил молитву. Эта цепь простирается из глубины веков в нынешний день, отдаляя нас от ближайшего; люди и факты обретают фундамент и фон. Их становится легче выносить.

³⁰ Освобождение (*ит.*).

³¹ Матараццо Франческо (1443–1518) – итальянский историк, чей труд «Хроники города Перуджи 1492–1503» стал важным источником для более поздних историков итальянского Возрождения.

* * *

Итак, к какому разряду мне отнести Кондора? Он тиран, без сомнения, но этим сказано слишком мало. Согласно привычному словоупотреблению, тираны находят наиболее благодатную почву на Западе, а деспоты – на Востоке. Те и другие обладают неограниченной властью, но тиран следует скорее определенным правилам, а деспот – своим прихотям. Вот почему тираническую власть легче передать по наследству, хотя такая преемственность редко простирается дальше внуков. И телохранители оказываются не менее верными, чем родной сын. Ликофрон, сын Периандра, несмотря на серьезнейшие разногласия, выступил против отца лишь духовно, но не действием.

По классической схеме нельзя причислить Кондора к тиранам старого пошиба, которые приходили к власти в борьбе с аристократией или входили в историю как убийцы королей. Об этом в Эвмесвиле уже давно и речи быть не может. Хотя прежние тираны как «смесители людей» выполнили предварительную работу, не только путем уничтожения элит и уравнивания демоса до безликой массы, но также путем депортаций и заполнения вакуума чужими наемниками и иностранными рабочими. Такая политика десятилетиями ослабляет внутреннее сопротивление, коль скоро оно появляется. Перевороты становятся хронической болезнью, но уже ничего не меняют. Те, что сменяют друг друга у власти, походят один на другого прежде всего силой воли. И используют одни и те же высокие слова как своего рода фейерверк, маскирующий смертоносные выстрелы.

Давних тиранов, несмотря на южноамериканский оттенок своей диктатуры, Кондор напоминает тем, что обладает вкусом. В бытность солдатом он читал мало и пытается возместить сей недостаток, охотно приглашая в касбу художников и философов, а также людей науки и талантливых ремесленников. Я выиграл от такой его склонности, ведь он оборудовал для меня дорогостоящий люминар.

Признаться, в иные вечера я наслаждаюсь в ночном баре сходством с Сикионом, Коринфом и Самосом, а в первую очередь с Сиракузами давних властителей. В частности, по причине мировых взаимодействий на фоне единообразия возникают одиночные «брильянты», то бишь таланты, не соединенные с определенным ландшафтом или традицией. Они выступают над ровной поверхностью как «одинокое пики», что, конечно, не способствует формированию стиля. Нет особых мест для собраний, для обмена информацией среди равных на высокой ступени, нет многоцветных колонных залов, нет студий мастеров. Иногда кажется, будто по этой плоской поверхности прокатывается шаровая молния.

Практически не связанный ни местом, ни временем, выдающийся одиночка пользуется полной свободой выбора. Большие и малые властители стараются привязать его к себе, присвоить. Желтый Хан предпочитает умы, захваченные великими планами, архитекторов для азиатских резиденций; противник его любит художников и метафизиков. В Эвмесвиле таковые не живут постоянно, но как редкие гости появляются здесь в составе свиты, проездом. Однако мне вполне достаточно того, что обсуждается меж Кондором, Атилиой и Домо. Иногда слышишь поразительные речи и от миньонов, когда им дают слово. Я имею в виду гладко причесанных пажей с профилями, словно высеченными из сердолика. Позднее они часто попадают на высокие посты.

* * *

Может быть, назвать его поздним диадохом? Недаром мы живем в Эвмесвиле. Об Эвмене некий историк говорит, что ему недоставало одного необходимого диадоху качества, а именно низости; недостает его и Кондору. Нет в нем и жестокости; она ему даже отвратительна.

Я часто спрашиваю себя, почему никак не могу прийти к удовлетворительному сравнению. Наверно, виной тому разжижение, какое мы наблюдаем, когда, заваривая чай, снова и снова заливают кипятком одни и те же листья. Мы живем использованным органическим веществом. Злодеяния и зверства ранних мифов, Микен, Персеполя, древних и новых тираний, диадохов и эпигонов, распад Западной, а затем и Восточной Римской империи, государи Возрождения и конкистадоры, а вдобавок обширная палитра экзотических злодеев от Дагомеи до ацтеков – все выглядит так, будто мотивы исчерпаны, и их недостает ни на подвиги, ни на злодеяния, разве что на тусклое сходство.

Как историк я умею избегать этого, перемещаясь по просторам истории как по залу картинной галереи, в окружении живописных шедевров – они мне знакомы по моим штудиям. Но, только освободившись от мо`рока связей с ними, я способен распознать их значимость. Глубоко под внешними слоями я обнаруживаю истинно человеческую сущность: в Каине и Авеле, в князе, как и в носильщике.

15

Стало быть, я всегда на службе – будь то в касбе или в городе. Если бы я полностью отдался преподаванию, мне пришлось бы распрощаться с обязанностями в касбе, но я слышу «сочувствующим» и в качестве такового знаком не только Кондору и его штабу, но и его противникам. С этим я должен считаться, хотя, как я уже говорил, мои симпатии имеют определенные пределы.

Я привык отличать то, что думают обо мне другие, от своей самооценки. Другие определяют мой социальный статус, каковой я, конечно опять-таки в известных пределах, принимаю всерьез. Мало того, я им удовлетворен. Чем отличаюсь от большинства эвмесвильцев, недовольных либо занимаемым местом, либо тем, что они из себя представляют.

С таким же успехом я мог бы сказать, что не удовлетворен моим положением и не принимаю его всерьез. Это утверждение можно бы тогда отнести и к положению города вообще, к отсутствию центра, который бы обязывал всех чиновников к добросовестности и придавал смысл любому действию. Ведь здесь уже не имеют значения ни клятва, ни жертва.

Однако раз возможно все, то можно и вольничать сколько угодно. Я анарх – не потому, что презираю авторитет, а потому что нуждаюсь в нем. А значит, не неверующий, но скорее человек, требующий достоверности. И веду себя как невеста в горнице – прислушиваюсь к каждому тихому шагу за дверью.

Мои притязания зиждутся, хоть и не целиком, но по большей части на моем образовании: я историк и, как таковой, знаю, что из идей, образов, мелодий, зданий, характеров можно предложить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.